

Н. Н. Покровский

**П**УТЕШЕСТВИЕ  
**ЗА РЕДКИМИ  
КНИГАМИ**

Издание третье, дополненное и переработанное



ИД «Сова»  
Новосибирск  
2005

ББК 76.11  
П 48

Вступительная статья  
академика *Д. С. Лихачева*

**П 48** **Н. Н. Покровский.** Путешествие за редкими книгами.— 3-е изд., доп. и перераб.— Новосибирск: ИД «Сова», 2005.— 344 с., илл.  
ISBN 5–87550–213–4

В книге выдающегося сибирского ученого, академика РАН Н. Н. Покровского представлены живые, увлекательные рассказы об организованных им экспедициях, его встречах со старообрядцами, живущими в затерянных в тайге поселениях и скитах, об интереснейших памятниках древнерусской и старообрядческой книжности, приобретенных в ходе экспедиционной работы, и их авторах. Основные герои книги: один из крупнейших православных богословов XVI в. Максим Грек, знаменитый историк и государственный деятель XVIII в. Василий Никитич Татищев, старообрядческие наставники и писатели XVIII в. — Родион Набатов, Мирон Галанин, беглый холоп Максим, руководители Тарского бунта 1722 г., а также старообрядцы, хранители древнерусского книжного наследия, с которыми автор встречался во время своих экспедиционных поездок.

Книга предназначена как для самого широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей и культурой, так и для специалистов различного профиля — историков, литературоведов, этнографов, археологов.

ISBN 5–87550–213–4

© Покровский Н. Н., 2005

© ИД «Сова», 2005



## АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ СИБИРИ

Предлагаемая вниманию читателей книга написана крупнейшим знатоком сибирской крестьянской литературы, по существу открывшим ее, собравшим ее со своими учениками по всему обширному пространству Западной Сибири, Урала, Алтая и давшим ей глубокое научное истолкование во всех аспектах: археографическом, источниковедческом, историческом, идеологическом и литературном.

До «археографического открытия» Сибири, произведенного Н. Н. Покровским, его коллегами и учениками, считалось, что в Сибири древнерусская книжность представлена очень бедно, ибо какие могут быть, казалось, древние книги в стране, освоенной в основном в XVII и последующие века?

Однако оказалось, что русские переселенцы везли с собой наряду с самым необходимым для первоначального своего устройства книги, книги и книги, а затем в своей многотрудной жизни на новых землях усиленно занимались перепиской книг и созданием своей собственной новой крестьянской литературы.

Первая экспедиция за древними рукописными книгами, организованная Сибирским отделением Академии наук СССР и выехавшая из Новосибирска летом 1965 г., привезла 38 рукописных и старопечатных книг. Это был неожиданный и большой успех, так как предварительные данные о наличии древних книг были еще не собраны. Экспедиция отправлялась в неизвестность.

Уже в этой первой экспедиции 1965 г. Е. И. Дергачевой-Скоп удалось найти рукописный сборник с сочинениями Иосифа Волоцкого — писателя первой половины XVI в.

Дар академика М. Н. Тихомирова Новосибирской научной библиотеке своего собрания древнерусских рукописей позволил новосибирским ученым не только описывать вновь найденные рукописи, но изучать их на широкой основе сопоставлений с другими. И сборник с сочинениями Иосифа Волоцкого, найденный в экспедиции 1965 г., оказался по почерку очень близок одному из Хронографов в собрании М. Н. Тихомирова. Это свидетельствовало о том, что



в Сибири находятся рукописи отнюдь не местного происхождения и местного значения.

За годы 1965–1983 новосибирскими археографическими экспедициями была охвачена огромная территория. Новосибирские археографы во главе с Н. Н. Покровским создали семь территориальных коллекций, приобрели целиком отдельные крестьянские библиотеки. Новосибирские книжные хранилища были пополнены более чем 1 700 рукописными и печатными книгами и отдельными списками. Среди найденных книг оказались новые списки таких важных произведений древней Руси, как «Послание к брату столпнику», по-видимому, киевского митрополита XI в. Илариона, Слова Кирилла Туровского, созданные в XII в., Паремийные чтения о Борисе и Глебе, первоначальные редакции которых относятся к XII в., Сказание о Мамаевом побоище, созданное в XV в., Повесть о царице Динаре, написанная в XVI в., и многие другие.

Среди значительнейших открытий новосибирских ученых может быть отмечен и найденный на Алтае в 1968 г. рукописный сборник, содержащий наиболее ранние и наиболее полные записи о суде над известным ученым и публицистом XVI в. Максимом Греком. Об этом сборнике в книге речь будет особая<sup>1</sup>. Но дело не только в известных произведениях и в материалах об известных авторах. Была открыта огромная крестьянская литература XVIII–XIX вв. — литература, свидетельствующая о неутомимых, горячих и бескомпромиссных поисках народом правды-истины, об отчаянной борьбе крестьянства с самодержавным государством за право думать и верить по своему собственному разумению<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *Судные списки Максима Грека и Исаака Собака / Подготовка к печати Н. Н. Покровского. М., 1971; Покровский Н. Н. Замечания о рукописи «Судных списков» Максима Грека // ТОДРЛ. Т. 36. Л., 1981. С. 80–102. См. главу IV этой книги.*

<sup>2</sup> *Покровский Н. Н. Новые сведения о крестьянской старообрядческой литературе Урала и Сибири // ТОДРЛ. Т. 30. Л., 1976. С. 173–183; Он же. Новые находки произведений крестьянской литературы Урала и Сибири в XVIII веке // Археографический ежегодник за 1971 год. М., 1972. С. 376–377; Он же. К изучению памятников протеста крестьян-старообрядцев Западной Сибири середины XVIII века // Бахрушинские чтения, 1971. Вып. 2. Из истории социально-экономического и политического развития Сибири в XVII — начале XX в. Новосибирск, 1971. С. 50–58; Байдин В. И. Новые источники по организации и идеологии урало-сибирского старообрядчества в конце XVIII — первой пол. XIX в. // Сибирское источниковедение и археография. Новосибирск, 1980. С. 93–109.*





Новосибирская школа археографов — это явление удивительное в наших гуманитарных науках. Здесь объединены филологи и историки, искусствоведы и музыковеды, — объединены «комплексной темой». Это только называется «комплексная тема», а по существу — это многосторонние культурные аспекты изучения целого своеобразного континента, огромной страны, раскинувшейся на территории, равной по площади Европе.

Да и археографией это не назовешь, потому что археографам приходится заниматься всем — от изучения почерков и водяных знаков на бумаге до истории широких общественных движений, переселений масс народа в поисках своеобразного крестьянского рая — Беловодского царства, утопии, которая захватывала мечты тысяч и тысяч. Археографы вступают в контакт со всеми, ибо книга — это и есть все. Она — как бы микрокосмос, отражает большой мир, во всяком случае, все представления человека о мире. И археографы, занимающиеся рукописной книгой, так или иначе сталкиваются со всем миром в представлениях людей, создающих книгу.

Только с первого взгляда археография кажется узкой дисциплиной. На самом же деле нет шире этой науки, и пространства ее соприкосновения с другими науками — самые обширные. На основе работ сибирских археографов уже создана сейчас история раннего этапа сибирской литературы, история сибирского крестьянства, созданы многочисленные описания рукописных книжных богатств Сибири, создана история сибирского летописания, начато издание сибирских летописей<sup>3</sup>.

Если позволено мечтать в науке, то подумаем о том, чтобы найти и сибирских композиторов из крестьян, как они найдены в Великороссии и как найдены авторы сибирских произведений общественной мысли.

Особый раздел археографии представляют исследования крестьянских жалоб, челобитных, наказов. Нигде так не соединяются судьбы людей и книг, как в исследованиях археографов. Предоставим слово Н. Н. Покровскому. Он пишет:

«Создатели крестьянской письменности — люди сложных и ярких судеб. Биографии многих крестьянских писателей, руково-

---

<sup>3</sup> Дергачева-Скоп Е. И. Из истории литературы Урала и Сибири XVII в. Свердловск, 1965; Ромодановская Е. К. Русская литература Сибири первой пол. XVII в. Новосибирск, 1973; Она же. Погодинский летописец (к вопросу о начале сибирского летописания) // Сибирское источниковедение и археография. Новосибирск, 1980. С. 18–58.





дителей народного протеста вполне можно было бы писать в приключенческом остросюжетном жанре. Вполне понятно поэтому стремление новосибирских археографов насыщать свои специальные труды человеческими реалиями, создавать биографические очерки таких людей»<sup>4</sup>.

Изучение народного общественного сознания невозможно без исследования тех изменений, которые происходят с Петровской эпохи в механизме воздействия на это сознание со стороны господствующей церкви; процесс этот привел к важным переменам и в источниковой сфере: возникли новые источники, сменились фондообразователи и т. д. Работа по анализу этих новшеств, выполненная Н. Д. Зольниковой на материале Западной Сибири XVIII в., пока не имеет аналогий для других регионов.

Лишь частично эта лакуна закрывается интересным, но не бесспорным исследованием Грегори Фриза<sup>5</sup>.

Изучение источников по крестьянским верованиям неизбежно привело новосибирских археографов к древним записям заговоров, календарных обрядов, законодательным и судебным материалам, отразившим борьбу официальной церкви и государства с «крестьянским вариантом» православия, реликтами язычества. Эти работы тес-

---

<sup>4</sup> *Покровский Н. Н.* Сибирский Илья-пророк перед военным судом просвещенного абсолютизма // Изв. Сибирского отд. АН СССР, 1972. № 6. Сер. обществ. наук. Вып. 2. С. 133–136; *Он же.* Исповедь алтайского крестьянина // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник, 1978. Л., 1979. С. 49–57; *Он же.* Крестьянский руководитель сибирских староверов-половцев середины XVIII в. Гавриила Морока // Вопросы истории Сибири. Вып. 2. Томск, 1982. С. 17–27.

<sup>5</sup> *Зольникова Н. Д.* Ставленнические дела как источник по социальным проблемам XVIII века // Источниковедение и археография Сибири. Новосибирск, 1977. Вып. 2. С. 14–40; *Она же.* Табельные дни и организация политической службы духовенства в системе абсолютизма в Тобольской епархии 40–60-х гг. XVIII в. // Из истории Алтая. Томск, 1978. С. 204–219; *Она же.* Словесные проблемы во взаимоотношениях церкви и государства в Сибири (XVIII век). Новосибирск, 1981; *Gregozy L. Fgeeze.* The Russian Levites. Parish Clergy in the XVIII c. Cambridge Mass., L., 1977.

<sup>6</sup> *Покровский Н. Н.* Документы XVIII века об отношении Синода к народным календарным обрядам // Советская этнография. 1982. № 5. С. 96–108; *Он же.* Исповедь алтайского крестьянина. См. также статьи Л. В. Островской, Н. Н. Покровского и М. М. Громыко в сборнике: *Из истории семьи и быта сибирского крестьянства XVII — начала XX в.* Новосибирск, 1975; монографию: *Громыко М. М.* Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII — первая пол. XIX в.). Новосибирск, 1975.



но сомкнулись с известными исследованиями М. М. Громыко о трудовых навыках сибирского крестьянства, их верованиях<sup>6</sup>.

Наряду со всеми этими направлениями в Новосибирском научном центре (преимущественно в ГПНТБ) развивались книговедческие исследования по истории книги в Сибири в XVII–XVIII вв. В работах И. А. Гузнер и Л. А. Ситникова подверглись детальному анализу вопросы комплектования и состава ряда сибирских библиотек XVIII–XIX вв., в первую очередь Колывано-Воскресенских и Екатеринбургских горных и учебных библиотек. Хорошие результаты дало при этом изучение библиотечных помет и печатей на сохранившихся экземплярах книг в сопоставлении с описями и реестрами, извлеченными из архивных фондов. Важной находкой является обнаружение каталога 617 изданий и рукописей библиотеки В. Н. Татищева, переданных им в Екатеринбургскую горную школу<sup>7</sup>. Начало изучаться также и бытование западноевропейской книги в Сибири<sup>8</sup>.

Археографы — это не просто ученые, изучающие рукописи, — это ученые, открывающие людей. Сильной группе сибирских археографов необычайно повезло: они открыли не только отдельных авторов и переписчиков рукописей, — они открыли целую сибирскую крестьянскую литературу, разрушили обывательское представление о крестьянах как о людях, не имеющих особых интеллектуальных интересов. Они отчетливо показали, что крестьянские волнения, время

---

<sup>7</sup> *Гузнер И. А., Ситников Л. А.* Библиотеки Колывано-Воскресенских горных заводов в XVIII в. // Вопросы истории книжной культуры. Вып. 19. Новосибирск, 1975. С. 9–50; *Гузнер И. А.* В. Н. Татищев и просветительская деятельность урало-сибирских библиотек в XVIII веке // Революционные и прогрессивные традиции книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке. Новосибирск, 1979. С. 5–16; *Она же.* Библиотеки учебных заведений Сибири в первой пол. XVIII века // Книга в Сибири XVII — начала XX в. Новосибирск, 1980. С. 64–77; *Она же.* Книжное собрание В. Н. Татищева в составе библиотеки Екатеринбургской горной школы // Сибирское собрание М. Н. Тихомирова и проблемы археографии. Новосибирск, 1981. С. 159–169; *Ситников Л. А.* Книга на заводах Урала и Сибири во второй пол. XVIII в. // Революционные и прогрессивные традиции... С. 17–30.

<sup>8</sup> *Ревакина Н. В., Макарова Л. М.* Западноевропейская книга XV–XVIII вв. в библиотеках Сибири и Дальнего Востока // Вопросы истории книжной культуры. Вып. 19. С. 149–165; *Макарова Л. М.* Инкунабулы сектора редких книг из рукописей ГПНТБ СО АН СССР // Там же. С. 166–172; *Ситников Л. А.* Западноевропейская книга в Сибири во второй пол. XVIII века // Книга в Сибири. XVII — начало XX вв. Новосибирск, 1980. С. 79–98.





от времени прокатывавшиеся по всей России, имели за собой напряженные духовные искания.

Не сомневаюсь, что читатель с интересом прочтет и разделы этой книги, посвященные переписке рукописей, и разделы о выявлении в найденных книгах сведений о давным-давно ушедшей идейной борьбе, и увлекательный рассказ об одном из ярчайших представителей крестьянской бескомпромиссной борьбы за свободу вероисповедания и за лучшее будущее — Владимире Трегубове.

*Д. С. Лихачев (1984 г.)*







Глава 1  
**СКРИПТОРИЙ**



Э

та первая моя экспедиция за книгами в Сибири отложилась в памяти рельефнее, чем полтора десятка следующих сезонов со всеми их находками, подчас уникальными. Мой опыт поисков книг в селах Владимирщины оказался здесь почти совершенно бесполезным: все определялось удивительным своеобразием сибирских условий, которые предстояло еще познать и осмыслить. Кое-какая пища для размышлений уже имелась: несколько лет назад в одном из самых перспективных сибирских районов побывали мои добрые московские друзья А. И. Рогов и В. Б. Павлов-Сильванский, и я, конечно же, подробно расспросил их об этом. Собственно говоря, именно эти сибирские экспедиции Археографической комиссии убедили ее главу Михаила Николаевича Тихомирова в необходимости создавать сибирский археографический центр и вести поиск древних книг на востоке страны силами этого центра. Дело в том, что эти экспедиции позволили сделать два важных вывода. Во-первых, оказалось, что древняя русская книга в Сибири была. Не выдержали проверки фактами столь логичные, казалось бы, соображения скептиков о том, что в тяжкий путь, протянувшийся на многие тысячи верст, русский крестьянин будет брать с собою не увесистые фолианты, а более необходимый для обустройства на новом месте груз. Оказалось, что русским переселенцам XVII, XVIII, XIX вв. были почему-то крайне необходимы на новом месте и творения византийских писателей, и страстные обличения господствующей никонианской церкви, и продукция первых центров славянского книгопечатания.

Итак, русскую книгу в Сибири можно было искать. Но одновременно выяснилось, что традиционные методы такого поиска, дававшие хорошие результаты, например, в Поморье, требовали в Сибири существенного пересмотра. И это было вторым важным результатом первых экспедиций московских археографов. Иной была среда бытования книги: старообрядчество в Сибири сохранилось много лучше, чем в известных нам тогда районах Европейской России. Традиционная средневековая функция древней книги в Сибири еще не отошла целиком в прошлое. Отсюда — и особое отношение к книге, и особые отношения владельцев книг между собой, и, конечно, к любому чужаку. Все это предстояло познать на собственном опыте. Надо было учиться строить тот естественный, искренний стиль взаимоотношений с людьми, который помог бы понять наши действительные



цели, нашу заботу о культурном наследии прошлого, помог бы преодолеть понятное недоверие сибирских кержаков. В том, что недоверие это будет сильным, сомневаться не приходилось, тревогу старообрядцев за судьбу своих книг вполне можно было понять: веками власти охотились за ними, искореняя источник «зловредных суеверий», и, к сожалению, наш век долгое время не был исключением.



*М. Н. Тихомиров со своими рукописями*

Пройдут года и, отправляясь в новый район, мы будем чувствовать себя гораздо более уверенно. Нам будет что противопоставить понятному недоверию, традиционной осторожности наших слушателей. Искренность наших целей подтвердят наиболее авторитетные в этой среде люди — мы уже поймем, что в первую очередь нужно обращаться именно к ним. Мы узнаем многие тысячекилометровые родственные связи, пути недавних миграций и, приезжая в новый район, будем знать, кому и от кого передавать приветы, семейные новости. Не только мы узнаем многих, но и нас узнают многие.



В тот первый раз было куда труднее. Но и тогда у нас в руках был один важный аргумент — наше знание самых древних книг, умение разбираться в них, не путать Минею с Прологом, поморский орнамент с гуслицким, а почаевское издание с киевским. Те, кто интересовались древней книгой ради ее уничтожения (или позднее ради наживы), как правило, не разбирались во всем этом, плохо знали вековую историю старообрядчества (см. рис. 4, 5 на цв. вклейке).

Однако прежде чем демонстрировать свои познания, следовало найти собеседников. Некоторые соображения о том, где их лучше искать, у нас уже имелись: информация была получена как упомянутыми московскими экспедициями, так и своеобразной разведывательной группой, отправленной летом 1965 г. из Новосибирска. В ее составе работали филологи, прошедшие лучшую в стране школу в экспедициях Пушкинского дома, у самого Владимира Ивановича Малышева, — Елена Ивановна Дергачева-Скоп и Елена Константиновна Ромодановская, а также уральский искусствовед В. Н. Алексеев, вскоре возглавивший ответственное дело хранения дара Тихомирова и других древних книг в ГПНТБ — библиотеке Сибирского отделения Академии наук. Эти сведения позднее будут успешно использоваться при планировании маршрутов новосибирских археографов (см. рис. 1–3 на цв. вклейке).

Первый маршрут нашей группы в 1966 г. был определен при обстоятельствах особых. Когда летом 1965 г. я последний раз посетил уже смертельно больного председателя Археографической комиссии, Михаил Николаевич с традиционной дотошностью расспросил меня о перспективах хранения и использования его уникальной коллекции рукописей в Сибирском отделении Академии наук СССР, о том, как осуществляется договоренность о начале поисковых археографических работ. Эта договоренность состоялась за несколько месяцев до того, когда руководители Сибирского отделения академики Михаил Алексеевич Лаврентьев и Александр Леонидович Яншин знакомились в доме на Котельнической набережной, на квартире у Михаила Николаевича, с его щедрым подарком Новосибирску. В больнице мы вспомнили и обсудили опять все узловые моменты той важной беседы. Я рассказал о новосибирских обстоятельствах, о поддержке Алексея Павловича Окладникова, о полной реальности экспедиционных планов. И лишь в последние минуты этой последней нашей встречи Михаил Николаевич, любясь принесенным мною букетом ярких полевых васильков, порекомендовал мне район поиска. Совсем не тот, что я ожидал. Далеким от прежних маршрутов московских и сибирских археографов. «Район» — очень условный термин в данном случае. Несколько произнесенных Михаилом Николаевичем букв обозначали огромную территорию на юге Сибири, за Саянами: сотни километров



горных хребтов, извилистых речных долин. До сих пор не знаю, каким образом в руки Михаила Николаевича попала эта тонкая ниточка — информация о том, что в какой-то из этих долин скрывается нечто, крайне интересное для археографа. В какой долине и что именно скрывается, сам Михаил Николаевич, вероятно, понятия не имел. На основании бывших тогда у нас сведений весь этот район смело можно было объявлять полностью бесперспективным для археографической работы: русское население пришло туда очень поздно, в XX в. никаких известий о наличии там хранителей древней традиции не было. Я проверял это по научной литературе и периодической печати — и тоже безрезультатно. Однако нельзя было пренебрегать советом Михаила Николаевича, ведь он прекрасно понимал значение этого совета для осуществления одного из самых любимых планов последних лет своей жизни. Быть может, правильнее было бы последовать этому совету не сразу, а через несколько лет работы в более надежных районах, когда новое направление уже закрепится в новом научном центре. Но мы рискнули...

Самые первые минуты экспедиции сопровождались памятным конфузом. Абсолютно не представляя обычаев и порядков в районе наших будущих действий, я на всякий случай отправил в местный научный центр пространную телеграмму, где с восточным многословием описывал государственную важность нашей задачи. Когда мы вчетвером сошли с рюкзаками с сильно запоздавшего самолета, мы с удивлением увидели на аэродроме посланную за нами кавалькаду из нескольких грузовых и легковых автомашин. В лучшую гостиницу города нас поместил сам руководитель научного центра, лицо уважаемое, занимавшее к тому же важный для горной республики государственный пост. Было ужасно неловко, и только серьезная работа могла как-то сгладить это. И здесь помощь, которую охотно оказывали наши хозяева, оказалась очень полезной. Уже к концу первого дня в нашем распоряжении была изрядная информация, свидетельствующая, что мы не напрасно приехали сюда. Нас познакомили с несколькими местными интеллигентами, подтвердившими, что здесь могла сохраняться русская старина. Были и туманные припоминания о каких-то книгах в кожаных переплетках, к сожалению, слишком неопределенные и давние, чтобы служить конкретной путеводной нитью. Через несколько дней нам даже показали одну из таких книг, лет двадцать назад привезенную из деревни. Она оказалась обычной перепечаткой начала XX в. и для науки интереса не представляла.

В итоге всех этих рассказов складывалось впечатление, что есть два удаленных друг от друга региона, куда имеет смысл ехать. Самолетные рейсы туда были не очень-то частыми и регулярными, и очередность нашей работы в конце концов определилась Аэрофлотом.



Наш первый маршрут еще недавно отнимал месяца полтора: трудная дорога шла вокруг высоких горных хребтов. Маленький самолет преодолел их за час, и мы оказались на краю большого плоскогорья, недалеко от самых красивых в Южной Сибири озер. Узкая пешеходная тропа выходила из небольшого села и шла через лес, где в это время еще доцветали крупные багровые орхидеи. Через несколько километров пути — пять дворов, населенных старообрядцами.

Нельзя сказать, что удача сопутствовала нам с первых шагов. Шаги эти были не очень еще умелыми, хотя, как потом оказалось, перед нами были представители старинных кержацких семей, за две сотни лет широко расселившихся по всей Сибири. Мы не сумели тогда завоевать их доверие, несколько книг, которые нам в конце концов показали, были напечатаны в начале нашего века и не представляли для нас интереса. И только в одном доме нам повезло. Старик Овечкин стал старообрядцем совсем недавно, в вековых обычаях и традициях ориентировался плохо и больше всего боялся сделать что-нибудь не так. Он, как водится, долго уверял, что никаких книг у него нет и читать по-старому он не умеет. Последнее утверждение было недалеко от истины, но в крохотной избушке Овечкина трудно было не заметить лежавшие почти на виду три большие книги в старых переплетах из досок, обтянутых кожей. Два дня мы читали ему эти книги, рассуждали с ним об их содержании. Одна из них оказалась изданием московского Печатного двора первой половины XVII в. Рядовое издание, ничего сенсационного; во время моей предыдущей поездки за книгами, на Владимирщине, такие встречались не так уж редко. Но все-таки настоящий XVII в.! До сих пор не без содрогания вспоминаю все то красноречие, которое мы обрушили на голову бедного Овечкина во время этих бесед, убеждая его продать или променять нам книгу. Наконец он не без колебаний согласился.

С первой находкой в рюкзаке уже веселее шагало по горным тропам, однако эта первая удача долгое время оставалась единственной.

Мы вернулись в областной центр и вскоре уже были во втором из намеченных районов. Новые встречи, многочасовые, а то и многодневные беседы. Оказалось, что, хотя и впрямь русское население появилось здесь лишь в начале XX в., это были выходцы из важных центров сибирского старообрядчества, возникших еще при Петре I и Екатерине II. Удалось точно проследить миграционные пути семей первых насельников этого края, и именно эта информация позволила в следующие годы осуществить ряд очень успешных поездок, двигаясь по этим миграционным путям вспять. Но пока дни за днями проходили в беседах, не приносящих новых приобретений. Наши недоверчивые и замкнутые собеседники исподволь выясняли степень нашей осведомленности о деталях церковной реформы патриар-



ха Никона и о сравнительных достоинствах теорий чувственного и духовного прихода антихриста на землю, о двух бытовавших здесь вариантах толкования православного учения о Софии Премудрости Божьей. В конце этих разговоров на столе иногда стали появляться книги в кожаных переплетах с медными застежками. Появлялись хотя бы для элементарной проверки — как мы читаем и понимаем старые церковные тексты. Но, увы, эти тщательно копировавшие издания XVII в. тома на самом деле вышли из-под печатного станка начала XX столетия. Старина подчас воспроизводилась в них так успешно, что их нынешние хозяева, не подозревавшие о возможности датировки бумаги по водяным знакам, часто были убеждены, что хранят они подлинные дониконовские издания. И кроме этих, так хорошо известных каждому археографу поздних перепечаток — ничего! Ни одной рукописи, ни одной подлинной старопечатной книги. Лишь в следующие годы мы увидим здесь несколько подлинных изданий XVII–XVIII вв., но и тогда они будут встречаться тут реже, чем в археографических поездках по Европейской России. Но к тому времени мы уже будем знать, что во многом это объяснялось концентрацией старины в одной большой современной коллекции. Хозяина этой коллекции помог нам найти необычный вид тех самых поздних книг, которые только и попадались нам в эти первые недели работы.

Необычность состояла в том, что все книги здесь были в замечательном состоянии, аккуратно отремонтированы, переплетены, со всеми застежками, утраченные места текста старательно дописаны одним и тем же красивым полууставным почерком. Между тем бумага и чернила этих дописок были совсем свежими, а почерк, хотя и копировавший старообрядческие образцы петровского времени, также явно принадлежал человеку наших дней. Несомненно, что еще недавно в этих краях работала хорошая мастерская по ремонту книг. Вскоре мы заметили, что сфера ее деятельности распространялась на книги старообрядцев одного из тамошних согласий — «часовенного» — и не затрагивала других согласий. Это несколько сужало сферу поисков.

И тут мы впервые столкнулись с непонятным, с таким, чего не бывало в практике предыдущих археографических экспедиций в нашей стране. И хотя речь шла все о тех же поздних изданиях, сразу стало интересно.

Впрочем, следует описать по порядку путь, который привел нас к первой из этих книг. В районном центре мы успели познакомиться с рыжебородым силачом, жизнелюбом и великим бражником. Он уме-





ло руководил местной крохотной общиной наименее аскетического согласия «белокриницких» и бригадой плотников, недавно создавшей в лучших традициях сибирского деревянного зодчества красивое двухэтажное здание райкома и райисполкома. Старообрядческие устои здесь уже настолько расшатались, что стали возможны совместные возлияния в дни христианских праздников представителей разных согласий — вещь ранее неслыханная. В один из таких вечеров кто-то неожиданно вспомнил о греховности пьянства, о популярном в старообрядческой среде прошлых веков древнем поучении Иоанна Златоуста «О еже не упиватися». Тогда в спор смело вступил рыжебородый плотник, выдвинув в качестве контраргумента евангельский текст о браке в Кане Галилейской: Христос там не только превратил воду в вино, но, по словам плотника, пил его сам и угощал Богородицу. Это грубое отступление от канонического текста дорого обошлось смельчаку. Уже часть бороды его была в руках оппонентов, когда неожиданно страсти были утишены компромиссным толкованием. Его выдвинул один из грамотных стариков «часовенного» согласия, сказав, что в подлиннике евангельского текста употребляется термин, обозначающий только виноградное вино. Поэтому его-то и можно пить в умеренном количестве, тогда как хлебное вино находится под строгим запретом (оставался открытым вопрос о коньяке). Хотя в жизни своей плотник был весьма далек от соблюдения этих ограничений, лингвистические наблюдения старика привели его в восторг и он всячески восхвалял мне его мудрость. Я немедленно выразил горячее желание познакомиться с толкователем. Вскоре я разговаривал с высоким девяностолетним стариком, который ласково глядел на залитый вечерним солнцем палисадник, засаженный лекарственными цветами — марьиным корнем, ноготками, какой-то пестрой «травой от испуга». Разговор касался высоких книговедческих тем: допустимости пользоваться католическими книгами для обличения самих же католиков, методов узнавания никонианской порчи древнерусских книг, писаний никонианского митрополита петровских времен Дмитрия Туптало. Свои мысли старик тут же иллюстрировал цитатами из книг: из обработанных Дмитрием Четых Миней, из церковных летописей итальянского писателя Цезаря Барония, переведенных в XVII в. ярым католиком Скаргой. Книги были все теми же перепечатками конца XIX — начала XX в. в новеньких переплетах. Но вдруг один из этих переплетов привлек мое внимание. Его доски были обтянуты совершенно свежей кожей, которая буквально несколько лет назад разгуливала еще на собственных ногах. Между тем весь сложный рисунок переплета был таков, будто нанесший его на кожу мастер вели-



колепно знал только что вышедшее в Ленинской библиотеке исследование Сократа Александровича Клепикова о русских переплетах XVI–XVII вв. и имел соответствующие технические навыки. Совершенно свежие оттиски традиционного для московского Печатного двора XVII в. травного орнамента, умело оттиснутые сплошные и прерывистые линии. Особенно удивляла хорошо знакомая по многим старым переплетам тисненная надпись «Книга, глаголемая...». Надпись эта делалась всегда особым орнаментальным почерком — вязью. Рисунок и пропорции вязи со временем менялись, давно уже разработаны принципы датировки древних книг по вязи. Перед нами в затерянном в далекой горной долине селе был новехонький переплет с четким тиснением вязью, которая с одного взгляда точно датировалась XVII веком! (См. рис. 6 на цв. вклейке.)

Вскоре нам довелось увидеть еще несколько таких книг. Было ясно, что мы столкнулись с живой (или только что жившей) традицией старинного древнерусского мастерства изготовления книжных переплетов. Это мастерство веками сопутствовало переписке книг, составляло важную часть средневековой техники изготовления манускриптов. Между тем считалось, что самые последние центры по переписке древних книг, последние мастерские-скриптории прекратили свое существование в старообрядческой среде около полувека тому назад; да и они не изготавливали древних переплетов. Последние шаги в этой многовековой традиции прослеживались в талантливой книге замечательного собирателя древних рукописей Владимира Ивановича Малышева «Усть-цилёмские рукописные сборники».

Надо было искать мастерскую, откуда вышли эти удивительные переплеты. К счастью, мы уже догадывались, где ее искать. Или хотя бы ее следы, память о ней.

\* \* \*

Сразу же за порогами мы вошли в узкое ущелье горной сибирской реки. Гранитные стены обрывались вниз на десятки метров. Там, внизу, они то почти вплотную подходили к воде, то, расступаясь, давали место зарослям спелой смородины, огромным лиственницам, меж которых шла наша тропа.

К концу дня тропинка привела к небольшой поляне. За нею — изгородь, стожок сена, огород. Жилье. Люди (см. рис 7 на цв. вклейке).

Черное, с темно-красным кантом одеяние временами придавало хозяину этого маленького пустынножительного поселения отцу Палладию ту особую осанку и манеру держаться, которые было так трудно совместить с повседневной реальностью атеистических 1960-х годов. Между тем перед самым нашим появлением он занимался





обычным крестьянским делом — ходил на реку ставить сети. Выговор и лицо на первый взгляд такие же, как у многих сибирских крестьян. Лишь приглядевшись, замечаешь печать тех десятилетий, когда авторитет его был непрекаем на многие сотни верст вокруг.

Встретивший нас хозяин пустынножительной заимки не был поражен нашим визитом. Нам был ни к чему тревожащий эффект внезапного появления, поэтому мы охотно называли в каждом старо-



*Гранитные стены обрывались  
вниз на десятки метров*

обрядческом доме конечную цель нашего маршрута. Несмотря на безлюдность местности, весть о нашем появлении прибыла сюда на несколько дней раньше нашей пешей группы.

Сквозь приветливость встречи проглядывал не только интерес к свежим людям (с которыми, к тому же, можно поговорить и на столь специфическую тему, как последние новости о попытках объединения православия с католицизмом). Мы скоро почувствовали отработанный ритуал приема странников, хоть и редких в этих краях. Не-



сомненно, что главной психологической кульминацией ритуала был впечатляющий эффект демонстрации книжных богатств. Здесь не было и следа робости, столь часто встречаемого страха показать древнюю книгу незнакомым людям. Как раз наоборот: подобный показ не раз уже, видно, служил укреплению авторитета этого поселения.



*Избушки скита почти вплотную подходили к скалам, что создавало их обитателям полезную возможность быстрого бегства*

А показать было что! Когда старик подчеркнуто торжественным жестом откинул занавеску из ткани, за ней открылись полки, плотно уставленные десятками старинных томов. Здесь почти не было поздних перепечаток — корешок к корешку стояли издания конца XVI — первой половины XVII в. Хозяин явно умел по-своему (но довольно точно) датировать книги и собирал лишь старинные. Все книги — в образцовом порядке. Передавая их мне одну за одной для краткого



знакомства (а заодно и проверки, умею ли я определять их названия, назначение), хозяин не преминул напомнить древнее проклятие всем, забывающим закрыть застёжки книги после чтения. И впрямь, ни одной оборванной застёжки, утерянные заменены новыми, на некоторых из них — недавно нанесенный чеканный орнамент. Оторванные части листов аккуратно подклеены и дописаны знакомым уже почерком. Как вскоре оказалось, почерком хозяина этой библиотеки.

Однако настоящее знакомство с самой мастерской произошло лишь на следующее лето, когда наши уверения об интересе к древней книге как единственной цели наших путешествий подверглись уже некоторой проверке временем. Тогда мы получили, хоть и не без труда, возможность сфотографировать инструменты этого скриптория — первого, но не последнего действующего скриптория, обнаруженного нашими группами в Сибири. Потом мы даже стали заказывать для переписки древние тексты, так что коллекция Сибирского отделения Академии наук СССР располагает сейчас древнерусскими сочинениями, переписанными полууставом лишь несколько лет назад, например «в лето от сотворения мира 7475» (т. е. 1967 г.). Наряду с готовыми рукописями стали получать в таких скрипториях и «полуфабрикаты» с не раскрашенными еще контурами сложных инициалов и т. д. А недавно мы получили из другого енисейского скриптория несколько интересовавших нас сочинений, специально переписанных для нас древним «полууставным» почерком в тетрадке из тонко выделанной бересты.

Но все это будет потом. А пока мы стояли и рассматривали удивительную библиотеку (ныне уже не существующую), задавали первые осторожные вопросы о приемах ремонта книг и их переписки.

В итоге оказалось, что мастерская, пожалуй, даже интереснее, чем иные уже известные науке издания XVI–XVII вв., многие из которых позднее перекочевали на металлические полки книгохранилищ СО АН.

Во второй наш приезд в те места мы с радостью обнаружили, что условия хранения книг этой удивительной библиотеки значительно улучшились. Я много говорил предыдущим летом с обитателями этого поселения, как губительно влияет на старую бумагу сырость, ощущавшаяся и в разгар жаркого лета в помещении с худой крышей. На сей раз нам сразу бросилось в глаза, что изба была капитально отремонтирована и заново покрыта добротной лиственничной дранью — дело явно непосильное для живших там стариков. Не без внутренней гордости я хотел приписать такое заметное улучшение силе собственного красноречия, но оказалось, что история эта много сложнее (см. рис. 9 на цв. вклейке).



Несколько домов этих пустынножительных заимок, включая тот, где находились книги, были отремонтированы к памятной дате — 50-летию появления в этих местах хозяина библиотеки, выходца из пермской крестьянской семьи. Появление это не случайно произошло аккуратно в беспокойном 1917 году, так что когда в нашем институте шумно отмечали на специальной конференции с банкетом полвека существования страны «Великого Октября», в засаянской глуши тихо, но результативно прошел другой юбилей. Ремонт скита Палладия организовал (и сам немало при этом потрудился) бригадир соседнего леспромхоза, человек весьма авторитетный, в свое время изрядно повоевавший с этим самым хозяином библиотеки.

Бурные события тех лет были уже в далеком прошлом, о них нам без утайки рассказывали многие их участники. Незадолго до начала здесь Гражданской войны две 16-летние девушки из местных старообрядческих семей были против своей воли пострижены под именами Варсонофии и Мастрадеи в монашки соседнего скита матушки Измарагды. Они стали жертвой полуязыческого обычая, бытовавшего там: прикосновение чужого человека к священному монашескому одеянию считалось тяжким прегрешением, загладить которое можно было лишь пострижением этого человека в монахи. Девушки навестили скит, когда все взрослые находились на покосе, и, ожидая их, забавы ради примерили одеяния своих родственниц-монашек.

Вскоре после пострижения суровая скитская жизнь начала тяготить их, а тут пришли в эти края новые времена. Невольные постриженницы задумали неслыханную вещь — побег. Темной ночью их умыкнули двое решительных парней из «близлежащего» (всего лишь в полусотне верст) села (см. рис. 8 на цв. вклейке).

Почти через полвека в разных местах в разное время мы нашли всех четверых участников этой романтической истории; рассказанные подробности происшедшего в те далекие времена совпали. Одним из них и был бригадир промхоза. Судьбы обеих беглянок сложились непросто, жизнь бросала их в разные места и ситуации, сведя в конце концов опять вместе, в одной пустынножительной заимке той же горной долины. У первой из них семейная жизнь так и не сложилась, она оказалась очень хорошей работницей, еще до войны прославилась как передовая доярка соседнего совхоза. Совхоз командировал своих лучших людей на ВДНХ, и доярке до конца ее дней хватило рассказов о чудесах столицы.

Оставшись одна после смерти родителей, она ушла туда, откуда начинала свой путь во внешний мир. Одинокая избушка-полуземлянка у скалы над излучиной реки — пейзаж неправдоподобной красоты, трудно поверить, что такое на самом деле существует. Совсем ря-



дом, на самой скале, на точно найденном месте, видимом издалека, еще от скита с книгописной мастерской, постепенно возводится для нее и ее подруги просторная пятистенка из лиственничных бревен. Возводит ее все тот же бывший бригадир промхоза, который помог отремонтировать крышу над избой-книгохранилищем, близкий родственник Измарагды — там все родственники.

У подружки был более длинный путь. В голодное время она поступила в услужение местному партийному деятелю — стала домработницей. В годы Большого террора хозяин ее пошел на повышение — сначала в областной центр, а затем и в столицу. Так она тоже побывала в Москве — накануне войны и в первые ее месяцы. Захваченная вихрем военных событий, она оказалась в Туле — без единого знакомого, потеряв хлебные карточки. Она работала на сооружении известного пояса укреплений вокруг Тулы, затем добровольцем пошла в армию, стала прачкой, проделала весь тяжелый путь от Тулы до Берлина, получала награды. В страшные дни на Курской дуге пообещала себе, что, если останется живой, вернется в тихую сибирскую долину, в свой скит. Через много лет пришел день, когда она вспомнила об этом обещании.

Я бережно храню своеобразный сувенир — память о тех беседах, когда мне рассказывали эту удивительную историю: во второй мой приезд в ту долину обе старухи подарили мне аккуратную рукопись в четверку, написанную в те годы, когда будущему Ивану Грозному было еще лет пять от роду; в рукописи четыре красочные заставки удивительно тонкой работы — яркие краски, создающие сложное плетение нововизантийского орнамента, нанесены на листики сусального золота, приклеенные к бумаге рукописи; это Евангелие Измарагды, когда-то бывшее главной достопримечательностью того скита, из которого темной дождливой ночью ушли обе беглянки (см. рис. 10, 11 на цв. вклейке).

Позднее в нашем институте я показывал заставки книги одному из почетных гостей Академгородка, историку из ФРГ. Он внимательно слушал историю рукописи, время от времени возводил вверх белесые глаза и почему-то со вздохом шумно шептал: «Unmöglich!»<sup>1</sup>

\* \* \*

Опыт многолетнего общения с обитателями этих поселений (когда они лучше познакомились с нами, а мы — с ними) принес, пожалуй, тройкую пользу сибирским археографам.

<sup>1</sup> Невероятно! (нем.)



Во-первых, мы смогли наблюдать и описать живую практику переписки древних книг, уходящую корнями в вековую традицию. Эти описания вызвали понятный интерес специалистов, были быстро опубликованы сначала в Ленинграде, а затем и за рубежом.



*Общий вид мастерской скриптория*

Во-вторых, мы впервые увидели (а затем получили возможность скопировать) интереснейшую рукопись, переписанную в этой мастерской и содержащую целый пласт памятников неизвестной народной литературы XVIII в. находка позволила начать целенаправленный поиск и в экспедициях, и в государственных хранилищах; позднее в него включились и археографы нового Свердловского центра. В результате возникло из небытия яркое явление — крестьянская старообрядческая письменность XVIII–XIX вв. востока страны, мы узнали имена и наполненные острой борьбой биографии создателей памятников этой письменности.





В-третьих, чрезвычайно полезными оказались те советы и сведения, которые мы постепенно получили здесь для дальнейшего археографического поиска в Сибири. Эти ниточки в конце концов навели нас на след одной из самых ценных, по мнению наших московских и ленинградских коллег, археографических находок последних десятилетий: рукописного сборника XVI в. с большим комплексом новых данных по общественно-политической истории России времен Ивана Грозного и его отца Василия III, в том числе — с материалами судебных процессов над Максимом Греком.

Каждая из этих трех тем заслуживает отдельного рассказа.

\* \* \*

Древнерусская рукопись начиналась, естественно, с бумаги и чернил. В виденных нами сибирских скрипториях переписка древних книг производилась на доступных переписчикам сортах бумаги, по возможности на более плотной, нелинованной; меловая бумага не употреблялась. О наличии водяных знаков на старой бумаге

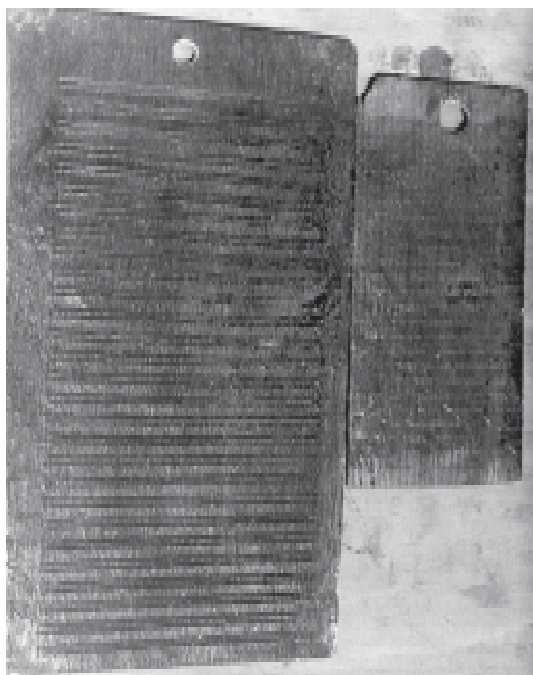


*Инструменты мастерской. Общий вид*



переписчики обычно не догадывались. Для полемических выписок, духовных стихов, отдельных молитв и житий шла любая, оказавшаяся под рукой бумага, в том числе листы из ученических тетрадей и даже целые тетради.

К бумаге для переписки служебных книг предъявлялись более строгие требования, особенно к нотным (крюковым) рукописям, которые обычно писались на самой плотной бумаге. Перед началом



*Доска-терекса для линовки бумаги*

переписки обычно заготавливали тетради по восемь листов (из четырех листов, каждый из которых сгибался вдвое), часто бумага сразу заготавливалась таким образом на всю книгу. Предпочитался близкий к школьной тетради размер в 4° и меньше; для небольших книг повседневного пользования употребляли даже очень маленький размер в 16°. Однако изготавливались еще и книги в лист; такой размер имеет, например, рукопись «Обиход крюковой», написанная почти на наших глазах четким полууставом, с применением вязи и инициалов.

Нелинованная бумага графится с помощью доски-терексы. Она изготавливается следующим образом. Берется гладко выструганная доска толщиной 3–5 мм и в 1–3 см от конца длинных ее сторон тон-



ким шилом делается по ряду парных отверстий. В отверстия протягиваются толстые нити, которые приклеиваются к доске; получаются парные линии, ограничивающие высоту каждой строки и расстояние между ними. Готовая доска покрывается обычно тонким слоем воска. Для того чтобы разлиновать лист бумаги, достаточно подложить под него терексу и провести несколько раз рукой по бумаге — линии слегка выдавятся на ней. Это нехитрое приспособление проделало долгий многовековой путь из книжных мастерских Древней Руси в затерянные среди сибирских гор старообрядческие избышки. Необычным было и то, что само греческое слово «терекса» (тиракса) являлось столь же привычным для нашего хозяина, как и название любого предмета повседневного крестьянского обихода. Необычно было и слушать его неторопливый рассказ об изготовлении тирексы; таким же обыденным тоном он расскажет чуть позднее, как делают в этих краях «карпету» (т. е. торпеду) — снасть для ловли харьюза.

В более глухих и отдаленных районах еще хорошо помнят железистые чернила (обычные в древнерусских скрипториях), хотя из-за отсутствия дубовых орешков эти чернила уже давно не делали. Для изготовления их брали дубовые орешки, железные опилки, кислый квас, камедь. В наиболее замкнутых скитах употребляли чернила из березовой чаги: наплыв на березе очищался от коры, распиливался на небольшие пластины, которые вываривали два-три дня, причем жидкость несколько раз охлаждали и опять кипятили с кусками дерева; в полученный буро-коричневый настой добавляли листовничную камедь. Кроме того, изготавливали чернила на саже, тоже с добавлением камеди. Все больше и больше распространялись покупные фиолетовые, синие, черные, красные чернила. Была известна также черная и красная тушь, хотя далеко не везде. Еще совсем недавно, в 1920-х гг. изготавливалась из покупного порошка и применялась киноварь, однако позднее она была целиком вытеснена красной тушью и чернилами. Кое-где для орнамента употребляли желтую, зеленую и коричневую акварельные краски.

В той, первой обнаруженной нами мастерской книги переписывались только гусиными перьями. Стальные перья были известны и там; нам даже объясняли, как их затачивать, чтобы они давали ровную и достаточно толстую линию полууставного почерка. Однако применение стальных перьев здесь осуждалось как новшество, противное традиции. Нам рассказывали, что для нотных (крюковых) рукописей с их особо толстыми линиями употребляются орлиные перья, однако увидеть их нам не удалось.



В менее отдаленных районах книги переписывались, как правило, особо заточенными стальными перьями или даже обычными стальными, однако и здесь иногда применяли еще гусиные перья.

При копировании текста, чтобы не сбиться со строки, на оригинал накладывалась небольшая медная линейка, один край которой слегка загнут: она передвигалась по строкам по мере переписки.



*Гусиные перья для переписки книг*

Переписка книги в две-три сотни листов занимала обычно несколько месяцев; переписчик редко мог посвящать этому каждый день. Один из наиболее опытных сибирских переписчиков говорил нам, что в день переписывает по 8–10 страниц в 4°, если отводит на это весь день. Всего он переписал за свою жизнь более полусотни книг (тогда ему было более 80 лет). Почерк его очень устойчив, и легко узнать книги, написанные его красивым полууставом 30–40 лет назад.

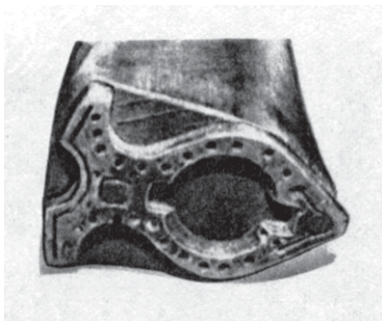
Переписанная книга брошюруется и переплетается обычным порядком, с употреблением материалов и инструментов, хорошо известных в переплетном деле: суровых ниток, шпагата, столярного клея и мучного клейстера, П-образного станка для сшивания тетрадей, пресса с деревянными винтами или клиньями, косога ножа для обрезки.

Доски переплета в наши дни редко уже обтянуты кожей, обычно ее заменяет плотная ткань. Такой переплет с досками, обтянутыми тканью, и с медными застежками для рукописи в 8° стоил несколько рублей. Мастера регулярно делали подобные работы на заказ.



*Штампы для тиснения кожи переплета*





*Штамп для медной застёжки*



*Штамп «Книга глаголемая...»*

Изготовление переплета из досок, обтянутых кожей, тогда еще не исчезло совсем. Именно этим объяснялись странные переплеты, виденные нами. Все стало понятным, как только нам показали набор инструментов для изготовления и тиснения кожаных переплетов. Среди них были многочисленные штампы и валики для горячего тиснения орнамента. Загадка вязи XVII в. на современных переплетах объяснялась очень просто. Был взят какой-то подлинный переплет первой половины XVII в. С соответствующих его мест наш хозяин изготовил глиняные оттиски, рельеф оттисков был им затем углублен, и после обжига глины получились готовые к употреблению штампы.



Кроме штампа с вязью «Книга глаголемая», таким же образом были изготовлены шестиугольные, ромбовидные и треугольные штампы древнего растительного орнамента. Другие штампы и валики — из бронзы и даже из алюминия также стремились подражать старым образцам, далеко не всегда точно повторяя их.

\* \* \*

Но реликтами XVII–XVIII вв. были не только гусиные перья и штампы скриптория. В самой жизни обитателей этого заброшенного в горных дебрях поселения проглядывало все то же стремление подражать старым образцам — хотя, опять же, не всегда удавалось точно повторять их.

И все-таки мне очень повезло — с самого начала моей работы в Сибири удалось посмотреть своими глазами на крохотные, сильно деформированные, остатки той многовековой практики пустынно-жительной колонизации, которая так тесно была связана и с психологией русского крестьянства, и с практикой его антифеодалного протеста. Недаром в последующих главах нашей книги, рассказывающих об этом протесте, постоянно будут упоминаться затерянные в лесах и горах заимки, скиты, поселения — передний край земледельческого освоения огромных просторов востока страны.

Часто (хотя далеко не всегда) это были поселения старообрядцев; часто беглецы становились старообрядцами уже придя в эти тайные убежища. Особенности быта, обусловленные житейскими правилами и запретами, сложившимися с конца XVII в. в старообрядчестве, будут передаваться из поколения в поколение, лишь постепенно вытесняясь новыми понятиями и привычками. Кое-что из этих традиций, восходящих к допетровскому и петровскому времени, успеем увидеть и мы. И увиденное, хоть и частично, можно будет соотнести с тем, что нам рассказывают письменные источники XVII–XVIII вв. о жизни первых старообрядческих общин, о жарких спорах, волновавших беглецов из мира странных петровских новаций.

Уже во время первого нашего путешествия хозяин скриптория подробно рассказал нам о мировоззренческих спорах, разделивших надвое население нескольких горных избушек. Предметом дискуссии был вопрос, волновавший византийских философов еще во времена Юстиниана, обсуждавшийся на русских соборах времен Ивана Грозного, привлекавший внимание известных просветителей конца XVII в. братьев Лихудов и ставший перед Октябрем темой большого монографического исследования П. Флоренского, основателя русской математической семантики. Это была фундаментальная мировоззренческая проблема сущности высшей Премудрости Божией, Софии, ее места во всем мироздании. Идеология раннего Средневе-



ковья (в том числе русского) немало заимствовала здесь от поздней античности — неоплатонизма, затем от гностиков. Сохранились, в частности, следы представления о Премудрости как об особой силе мироздания, отличной от трех ликов божества, но были и различные взаимоисключающие попытки привязать Софию к одному из этих ликов, второму, то есть к Богу Сыну, либо к Богоматери.

На Руси в период феодальной раздробленности в разных центрах утвердились различные взгляды на эту проблему. Предпринятая при Иване Грозном митрополитом Макарием общая попытка унификации в идеологической сфере коснулась и этой проблемы, но без особого успеха: после долгого спора соборные старцы сошлись на компромиссном решении — не считать еретической ни одну из обсуждавшихся тогда точек зрения.

В канун петровских преобразований старые споры возобновились, и тогда гимнографические тексты в честь Софии, бытовавшие в XVI в., были отредактированы известными деятелями украинского просвещения Лихудами — основателями воспитавшей Ломоносова колыбели новой русской культуры, Славяно-греко-латинской академии.

Вокруг одного из этих текстов и разгорелась острая дискуссия среди наших новых знакомых. Конечно, более чем тысячелетняя толща обсуждения самой проблемы не была им известна, но основные аргументы XVI в. воспроизводились в далеком горном ущелье Сибири с завидной точностью, хотя и без малейшего представления об источнике этих аргументов.

Конечно, нас вскоре попросили дать справку об истории обсуждения столь животрепещущей проблемы. Кое-что я мог сказать сразу — древние споры о сущности Софии были известны историкам давно, но многих важных деталей обсуждения этого вопроса в XVI в. я не знал на память, а как раз они интересовали моих слушателей больше всего: какую именно позицию занимали здесь наиболее авторитетные для них идеологи древних веков. Пришлось пообещать навести справки в старых рукописях.

Справки навести было нетрудно, археографам не так уж редко приходится это делать для владельцев рукописей. Но ситуация складывалась непростая: об авторитетности наших справок, а значит, и о нас самих, здесь будут судить отнюдь не на основании того, как точно мы излагаем древние рукописи. Будут действовать какие-то внутренние взаимоотношения, перипетии спора в этой долине, нам неизвестные. И даже самое точное изложение исторических фактов может закрыть перед нами двери каких-то очень интересных домов.

Но делать нечего, единственное правильное поведение — как раз точное изложение исторических фактов. Ознакомившись в Новоси-





бирске и Ленинграде с документами о соборных спорах XVI в., о древнем тексте песнопения в честь Софии Премудрости Божией и его редактировании Лихудами, я в подробном послании хозяину книгописной мастерской изложил все эти факты. Мне повезло: мое изложение давало немало новых аргументов обеим сторонам (кстати говоря, если хорошо покопаться, то чаще всего так и бывает). В XVI в., как я говорил, обе эти точки зрения были признаны каноничными; Лихуды, редактируя текст канона Софии, не внесли в него догматических изменений.

Свою историческую справку я отправил не в письменном виде, а наговорил на магнитофон, послав с ним участников нашей экспедиции студентов Г. П. Енина и А. Н. Кручинину. Старик, прослушав информацию, остался очень доволен ею и сразу же распорядился устроить коллективное прослушивание пленки всеми обитателями скита.

Нам было очень важно продемонстрировать таким наглядным способом положительные стороны новой техники, приучить к ней жителей долины. Здесь была жива еще традиция древнерусского «знаменного» и «демественного» распевов с употреблением «крюковой» нотации, далеко не во всех случаях поддающейся еще расшифровке учеными. Позднее нам удалось записать лучших певцов этих мест (среди них был и брат Измарагды Гермоген); самые опытные знатоки древней музыки взялись обучать Алю Кручинину, студентку консерватории.

А между тем отношение к технике в тамошних скитах было крайне отрицательным. К любой технике, даже к такому новшеству, как керосиновая лампа (для освещения использовали воск от небольшой пасеки, которую умело вел хозяин скриптория, жаловавшийся, однако, на грабительские набеги медведя).

Пустынножительские поселения старообрядческих согласий всегда стремились сохранить традиционный уклад жизни, но степень неприятия новшеств, в том числе технических, была очень разной, и постепенно жизнь брала свое. Несмотря на все запреты, по соседству со скрипторием охотники, даже самые горячие почитатели его хозяина, быстро оценили удобства лодочных моторов. Я еще видел, как, переселяясь в большой деревне в новый дом, кержак в первую очередь ликвидировал проволоку радиотрансляционной сети, но вскоре даже в наиболее малонаселенных местах редкий охотник стал выходить на промысел без транзисторного приемника, ежедневно сообщаемых местных сводки погоды. А затем в ближайшем к скриптории селе по инициативе членов старожильческих семей, десятилетиями поддерживавших соседние скиты, организовали регу-



лярное электрическое освещение, и все хозяйки тут же обзавелись стиральными машинами, доставленными на самолетах. Одного из местных наставников я тоже встретил впервые в самолете — он вез домой лодочный мотор. Долгие догматические споры между стариками о канонической допустимости полетов самолетами, отголоски которых я еще застал, были уже в прошлом. (Спорили о том, можно ли отпевать человека, если он погибнет в полете: по Апостолу человек, садящийся на корабль в бурю, — самоубийца; в одном из забытых в книге писем мы прочитали трезвое мнение, что если летчики не употребляли перед полетом спиртное, лететь с ними канонически допустимо.) Но это все в «обычных» поселениях, в скитах же — свой устав и свои нормы. Стремление нерушимо сохранить традицию, старину — построить свою жизнь как оттиск древнего штампа на коже книжного переплета.

Хотя штамп при этом провозглашался «дониконовским», то есть, грубо говоря, до середины XVII в., на деле большинство бытовых проблем, связанных с выработкой норм поведения старообрядческих общин в «никонианском» мире, остро встало несколько позднее — в конце XVII — начале XVIII в., преимущественно в петровское время. Именно тогда стали оформляться основные старообрядческие согласия со своими ответами на эти вопросы.

В наиболее радикальных из этих согласий на складывающиеся бытовые нормы, наряду с древними каноническими правилами, оказали влияние несколько важных общих идей. Это в первую очередь очень характерная для средневекового сознания мысль о приблизившемся вплотную конце света. Сделав вывод о том, что в России после Никона в той или иной форме воцарился антихрист и близок Страшный суд, идеологи старообрядчества стали рассматривать всю окружающую их действительность русской феодальной империи как царство победившего антихриста. В связи с этим старые нормы церковного права о бытовом отгораживании от иноверцев стали трактоваться гораздо строже обычного, из них были сделаны выводы, далеко ушедшие от традиционного учения церкви.

Так, в наиболее решительные головы сразу нескольких согласий пришла мысль о том, что в мире победившего антихриста деньги и торговля — первопричина множества грехов — стали, наряду с государственным принуждением, важнейшим средством сатанинского совращения людей, их вербовки силами зла. Был сделан вывод о том, что люди истинной веры должны избегать даже прикосновения к деньгам, сторониться торговли, не употреблять любых купленных на деньги товаров.

Это было, по сути, патриархальной крестьянской реакцией на наступление новых, буржуазных отношений. Но вскоре самые круп-



ные и влиятельные центры старообрядчества (Выгореция, Москва и другие) связали свою судьбу с буржуазным развитием, торговлей, текстильной промышленностью. (Одна из глав подробной истории Выгореции, написанной в 1970 г. добросовестным американским историком Робертом Крамми, называется «Святые в торговле».) Начались новые острые споры, действительно ли оскверняются «брашна» (пища), прошедшие через «торжище». И видные идеологи старообрядчества разрешили торговлю и купленные на рынке товары.

Однако вращение руководителей крупных согласий в «мир антихриста» одобрялось далеко не всеми. Радикальная крестьянская оппозиция к их линии была всегда очень сильна в старообрядчестве, что постоянно приводило к созданию все новых согласий, центров, к незатухающей полемике. Наблюдая за бытовыми нормами и запретами, которым подчинялась жизнь скитов близ того нашего первого скриптория, мы вскоре заметили, что тамошние пустынножители стремились быть наследниками именно крестьянской, наиболее радикальной традиции. Эти скиты были «безденежными»: деньги там были под строгим запретом. (Позднее наши экспедиции встречались и с другими «безденежными»; в иных местах старики поручали вести все неизбежные денежные дела поселения какому-то одному человеку, чаще всего в качестве епитимьи, наказания за грехи.)

Конечно, потом обнаружилось, что общий принцип «безденежности» знал серьезные исключения, цена денег была там неплохо известна, не раз у меня даже приценивались к книгам. Была своя такса — не очень-то высокая — и на то, чтобы стать членом этой трудовой общины, и на то, чтобы быть похороненным в тамошней земле. Но все же прикосновение к деньгам считалось грехом, и община пыталась строить свою жизнь полностью на натуральной основе.

В частности, этот принцип диктовал многие запреты в еде и одежде, соблюдавшиеся в конце 60-х гг. еще довольно строго. Нельзя было употреблять сахар — его, минуя денежное обращение, не приобрести. Соль добывали через знакомых у ближайшего соляного озера, в паре сотен верст всего. Близ избышек еще недавно были поля зерновых, мы уже застали только одно небольшое; основные запасы муки и зерна получали, меняя их на коров и телят, выращенных пустынниками (в скитах действовал традиционный круглогодичный запрет на мясо). Все остальные продукты давали тщательно ухоженные огороды, лес, река — жизнь в этой общине требовала каждодневно нелегкого труда, кроме обязательных пяти-семи часов молитвы.

Пустынницы с огромных прибрежных валунов ловили рыбу на «мушку» из меха, ловко подсекая роскошных харьюзов. Ставили сети; порою попадался таймень. Все мои студенты потом подолгу с востор-



гом вспоминали гостеприимный стол хозяев с его главным блюдом — пирогом из харьюза трижды в день, чай из бадана и смородины с медовыми вареньями. В заключение на стол ставили каленые кедровые орехи, и начинались многочасовые беседы на такие серьезные темы, как применение древних пособий (переписываемых в скриптории) для исчисления соотношения солнечного и лунного календарей или методов определения по Кормчей седьмой степени родства, препятствующей браку.

Немалая часть огорода невдалеке от книгописной мастерской была отдана под картофель. Эта обычная для всякого крестьянского огорода картина в данном случае не была такой уж сама собой разумеющейся. Вопрос о допустимости такого новшества, как картофель, не раз бурно обсуждался в старообрядческой литературе прошлых веков. Широкое хождение имело посвященное этому растению специальное старообрядческое сказание, где доказывалось, что клубни картофеля произошли от нечестивого союза некой царской дочери с огромным псом, бывшим, конечно, лишь орудием Сатаны. Но несмотря на все подобные предания, несмотря на «картофельные бунты» сороковых годов XIX в., новый важный продукт постепенно завоевывал крестьянские поля, в том числе и в сибирских кержацких поселениях. И как только я задал хозяину скриптория вопрос о картофеле, он прочитал мне все из той же маленькой книжицы, переплетенной в оленью кожу, постановление «Бийского 7420-го (1912) года собора», разрешившего употребление картофеля.

Бийское разрешение было подкреплено приличествующим случаю сказанием: о том, как отцам и страдальцам соловецким, выдерживавшим осаду войск нечестивого царя Алексея Михайловича, был чудесным образом дан свыше для пропитания новый продукт — картофель. Несмотря на явное несоответствие хронологическим реалиям, многие поспешили поверить в это предание, мне довелось слышать его неоднократно. Но не все признали бийские послабления — несколько раз я беседовал во время своих путешествий за древними книгами с принципиальными сторонниками сказания о сатанинских картофельных клубнях. Одна из таких собеседниц, деятельная и смелая Анна Сергеевна (о которой речь в четвертой главе нашей книги), нашла своеобразный компромиссный выход из положения: она обличала картофель, выращенный из осужденных сказанием клубней, но признавала собственноручно выведенный из семян. Судя по ее огороду, постоянное семенное обновление шло ее картошке на пользу. Она знала об употреблении «обычного» картофеля хозяином скриптория и строго осуждала его за это.



Упомянутое выше решение Бийского собора о картофеле было как верхушка айсберга: сначала в той же книжице в руках о. Палладия, а потом и во многих других сборниках, обнаруженных нашими экспедициями в Сибири и позднее моими екатеринбургскими учениками А. Т. Шашковым и В. И. Байдиным на Урале, удалось найти около трех десятков различных соборных постановлений «часовенных». Это был новый тип исторических источников, охватывавших немалый период с 1723 г. (Ирюмский собор, Зауралье) до 1994 г. (Сандакчесский собор, Нижний Енисей) и огромную территорию от уральских заводов до староверческих поселений в Манчжурии, Приморье и штате Орегон (США). И многие из этих документов касались трудной темы бытовых запретов — их строгость подчас ослаблялась, но чаще под запрет попадали все новые предметы еды и одежды, связанные с распространением новой культуры и техники и с опасностью «смешения» с «несвоими». В 1969/70 г. на Енисее подтверждалось запрещение употребления «магазинных продуктов» — хлеба, соли, сахара, рыбы, крупы, муки, а особенно — «пряников, печения и конфет». Если их все же употребляли по нужде в дороге, за это назначалась епитимья по 100 поклонов в день в течение 1–4 недель. Минусинский собор 1974 г. запретил «макаронные изделия». Тогда же и позднее на соборах шли споры о допустимости употребления «сухофруктов», магазинного сливочного масла. В некоторых общинах пошли на компромисс: запретные продукты «исправляли» особой молитвой, а затем употребляли. Но другие осуждали подобную слабость. Так собор 1990 г. в д. Безымянка запретил «исправлять» покупные «сухое молоко, дрожжи, сушки, пряники, маргарин и что-либо в банках». Но представители трех деревень, в целом согласившись с постановлением собора, заявили, что они все же будут продолжать «исправлять банки: огурцов, помидоров и яблок».

В 1970-е годы в Среднем Енисее по просьбе охотников, не выдерживавших поста вдаль от дома на зимних промыслах, отменили запрет Чулымского собора 1909 г. на сахар и разрешили его «исправлять». Но тут же нашлись и критики такого послабления, заявившие, что сахар стали исправлять не понемножку, а «мешками и центерами». В скиту Палладия полный запрет на сахар держался твердо.

Но вернемся к нашему первому маршруту. Запреты на покупное касались не только пищи, но и одежды. Домашние ткацкие станки — кросна были во многих домах, и нам часто приходилось восхищаться древними узорами изготовленных на них тканей, полотенец, скатертей. Позднее нам удалось приобрести немало прекрасных образцов народного орнамента. Покупные ткани в скитах долгое время были под строжайшим запретом, как и ткани светлых или пестрых расцве-



ток. Но постепенно и здесь строгости стали несколько ослабевать, мы видели уже и фабричную черную ткань, а потом и сами дарили ее.

Соборные постановления начиная с Ирюмского 1723 г. неизменно повторяют запрет на одежду лиц иных конфессий: «Иноземное одеяние христианом не носить» (1723 г.); «мужскому полу иноземного одеяния не носить, сиречь неметския — сюртуки, армянския — ярмеки, жидовския — картузы, и шапки еллинския» (1840 г., Тюмень). Еще ранее Шелконоговский собор 1802 г. постановил отлучать всех, носящих не только эти иноземные одежды, но и вообще «одежду модную». Бикинское соборное уложение 1926 г. (Приморский край) запрещает носить «шапки из поганого зверя... пинжаки и сапоги со скрипом», Сандакчесский собор 1994 г. — «костюмы, кепки и шапочки разныя с козырьками и шишками», а также детскую одежду «со всякими нашивками и рисунками разных животных и нерусскими буквами».

Особенно жестко регламентировалась одежда для общественной молитвы, например: «Женам, приходящим в дом молитвенный помолиться Богу, чтобы прямополосыя сарафаны не носили, а приходи́ти не в светлых, а в черных сарафанах и на главе надевати черныя платы долгия, или коноватныя (плотного восточного шелка. — *Н. П.*), или шали — надевати прямо, а не косяком» (1802 г., Шелконогово).

Были и другие запреты. Например, нельзя было держать собак (зато было изобилие котов) — собаки отпугивают странников. В XX в. актуальными стали запреты на всяческие технические новшества, особенно — на радиоприемники и телевизоры (Северный собор 1976 г. на Нижнем Енисее, собор 1990 г. в д. Безымянке близ канала с Оби на Енисей — вплоть до Сандакчесского собора 1994 г.). Здесь и отголоски существовавших еще в Киевской и Московской Руси запретов на разгульные празднества и игрища, на веселую музыку на гусях, сопелках. Но здесь и попытка отгородиться от новейших средств советской пропаганды, в том числе и атеистической.

В скитах этой долины существовал строгий запрет фотографироваться (в других скитах нас, наоборот, просили сделать фотографии). В ответ на мой вопрос о причине запрета я услышал интересное объяснение, далекое от любых церковных представлений и правил, но в чем-то неожиданно близкое известному бальзаковскому сюжету о шагреновой коже. Каждый человек получает при крещении невидимое сияние вокруг головы. При исполнении каждого греховного желания количество этого сияния уменьшается. Между тем на том свете это сияние будет пропуском в рай. Фотоаппарат, оказываясь, работает, улавливая этот невидимый свет. Отсюда понятные выводы: лучше раз согрешить, чем раз сфотографироваться. Фотоап-



парат — злобредная выдумка, лишаящая человека надежды на райское блаженство.

...Мы возвращались из путешествия в далекое горное ущелье, обогащенные самыми различными сведениями и теориями. В небольшом селе всего лишь в полусотне километров от маленького аэродрома на плоской вершине горы я консультировал школьника, сына местного наставника, как обращаться с недавно купленным им фотоаппаратом.

Глава 2

**КРЕСТЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ  
МИРОН ГАЛАНИН И ХОЛОП МАКСИМ**





С самого начала археографический поиск филологов и историков Академгородка направлял один важнейший пример, ценная концепция, выработанная за долгие годы уникальных обследований русского Севера археографами Пушкинского дома. Работы крупнейшего энтузиаста и подвижника этих обследований В. И. Малышева доказали, что есть еще на Руси места, которые могут интересовать археографа не просто как более или менее обильный резервуар старинных книг. Места эти были когда-то, в XVII–XIX вв., центрами своеобразной крестьянской культуры, здесь были свои школы переписчиков, даже своя литература. Крестьянские династии переписчиков В. И. Малышев проследил вплоть до 20–30-х гг. XX в. Сибирь имела и в прошлом немало общих черт с европейским Севером, и, отправляясь впервые в археографические маршруты, мы мечтали обнаружить в Сибири какие-то следы существования здесь в прошлом центров крестьянской письменности и литературы, подобных тем, что так замечательно описал В. И. Малышев. Обнадеживали и результаты, полученные первой разведывательной группой Е. И. Дергачевой-Скоп, Е. К. Ромодановской и В. Н. Алексеева, отправленной в 1965 г. из Новосибирска. Обнаруженные ими районы крестьянской книжной культуры прошлого в ближайшие годы дадут немало ценных находок: там же будет добыта самая древняя из спасенных сибирскими археографами русских рукописей — она датируется серединой XV в. и содержит, в частности, список одного из произведений цикла литературных памятников XII в., посвященного князьям Борису и Глебу.

Знакомство со скрипторием укрепило наши надежды. Каждый год приносил все больше сведений о переписке древних русских книг крестьянами-старообрядцами Урала и Сибири в XVIII и XIX вв., а подчас и во второй половине XX в. Но без ответа оставался еще один важнейший вопрос: неужели они ограничивались лишь перепиской сочинений чужих авторов, эпох и территорий? Существовала ли, скажем, в XVIII в. собственная письменная литература крестьян Урала и Сибири? Давно уже был известен большой исторический труд — сибирская летопись, написанная в интереснейшей ямщицкой семье Черепановых. Можно ли поставить что-нибудь рядом с ней, или это единственный пример?



Здесь мы вступаем в довольно туманную область, в которой современную науку ждет еще немало интересного,— литературу огромных крестьянских масс России. Ее сюжеты, герои, методы, мировоззрение, эстетика, особенность, специфика произведений, написанных самими крестьянами и пользовавшихся особенной популярностью у крестьян. Литература (и вообще культура) широких



*Разговор об археографии. Санаторий «Узкое». Справа налево:  
З. А. Лихачева, Д. С. Лихачев, С. О. Шмидт и Н. Н. Покровский*

народных масс всегда привлекала к себе особое внимание советских ученых — вспомним хотя бы ставшие классическими работы В. П. Адриановой-Перетц. И все же здесь огромное поле деятельности для исследователя. Мы все лучше и точнее познаем непреходящее общечеловеческое значение этой культуры, немалое ее влияние на творения профессиональных художников, литераторов. Но все еще очень мало понимаем, как отразились в ней особенности крестьянского сознания и психологии, в чем ее собственные законы, способ видения мира, символика. (Больше повезло тут фольклору, но не о нем сейчас речь.)

Научная важность этой проблемы народной культуры была одной из причин, определивших ту постоянную и неоценимую помощь, которую оказывали новосибирским археографам знаменитые научные центры Москвы и Ленинграда — Пушкинский дом, Архео-



графическая Комиссия, большую заинтересованность в нашей работе Дмитрия Сергеевича Лихачева, Сигурда Оттовича Шмидта и многих других.

В последнее время у исследователей, как и у собирателей, опять входит в моду лубок. Но и здесь — сходные проблемы. Можно объяснить человеку, чей художественный вкус воспитан на посещениях картинных галерей и вернисажей, что дал русский лубок, скажем, книжной гравюре и станковой живописи, профессиональным художникам. Куда труднее сейчас постичь, что и как именно видел в лубке русский крестьянин XVIII в. Судить о лубке лишь по законам развития чужих ему жанров бесполезно и несправедливо.

Разные стороны народного миропонимания прошлых веков все сильнее привлекают внимание ученых. Специалисты все точнее и лучше узнают многие детали народной культуры, быта; сейчас довольно подробно можно рассказать, как одевались крестьяне такой-то губернии в такое-то время, как строили и украшали дома, как и чем работали, что ели, какие песни пели и сказки рассказывали. Этнографические и фольклорные наблюдения сводятся в обобщающие исследования, атласы. При этом оказалось, что материальная культура народа изучена лучше духовной. И не первый уже год длится странная дискуссия среди историков на тему: а была ли у крестьян феодальной России своя идеология? Спор давно уже стал чисто терминологическим, а потому и беспредметным. Противники признания у дореформенных крестьян идеологии понимают под ней нечто научно-системное, характерное лишь для куда более поздних времен, — и во взглядах их оппонентов они поэтому видят лишь набившие горькую оскомину попытки подтягивать развитие русского абсолютистского государства под западноевропейскую хронологию.

А между тем ведь народ всегда имел сумму взглядов и об устройстве мира, и о порядках в обществе, и о многом другом. Взгляды эти сильно отличались от наших сегодняшних, но ведь они были! И когда в народную среду проникали насаждаемые сверху идеологические системы, они претерпевали разительную трансформацию в соответствии с представлениями и целями этой среды. Идея «божьей правды» обличала социальную неправду феодального общества, идеи монархизма трансформировались в представления о «неистинности» правящих царей, в поддержку самозванцев, в принятие имени Петра III Пугачевым. Система христианских идей о конце света — церковная эсхатология превратилась в старообрядческое учение о русском царстве как царстве антихриста, о душепагубности подчинения слугам царя-антихриста. Это учение стало популярным в крестьянской среде далеко за пределами строгих ревнителей старой



веры; казенная церковь и полицейское государство остро реагировали на его распространение, разыскивая и наказывая народных обличителей, сжигая обличения (а подчас и их авторов, распространителей). Борьба породила литературу. Но ни эта борьба, ни эта литература применительно к огромным просторам востока страны почти не были известны науке.

Таким образом, возвращаясь к нашему конкретному предмету исследования — урало-сибирской крестьянской литературе, сначала, еще до всех этих проблем, предстояло выяснить: а существовал ли сам этот предмет? Его неизученность в прошлом объяснялась очень просто — нечего было изучать. В государственных хранилищах и в частных коллекциях произведений этой литературы (за некоторым исключением) обнаружено не было. Археографы Академгородка начали искать их, естественно, в районах прежних старообрядческих поселений.

Была одна обнадеживающая деталь. Она промелькнула в провинциальном старообрядческом издании, каких немало стало появляться после первой русской революции. Помещенные там краткие очерки екатеринбургского купца А. Кузнецова о жизни уральских крестьян-старообрядцев в XVIII в. историки не заметили, они явно были написаны не профессионалом и возбуждали подозрения по части достоверности приведенных в них сведений. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что в распоряжении А. Кузнецова были какие-то старообрядческие источники о местных событиях XVIII в. Источники эти А. Кузнецов не называл, но они, несомненно, существовали еще в начале нашего столетия. Стоило искать.

Оригинальное уральское сочинение об истории борьбы урало-сибирских кержаков против феодальной церкви и государства в XVIII в. попало к нам в руки довольно быстро, однако удержать его мы не сумели. Это было еще на подходе к тому первому нашему скрипторию. Случай лишь на первый взгляд кажется исключительным, на деле же любой археограф признает в нем обстановку обычную. Дело происходило в небольшом селе, в паре часов ходьбы от районного центра. Рукопись принадлежала человеку, пытавшемуся (как вскоре оказалось, довольно безуспешно) играть роль местного наставника. Беседа с ним долгое время никак не налаживалась и несколько оживилась лишь после того, как он узнал конечную цель нашего маршрута. Тогда-то он показал нам свои книги — десятка два поздних перепечаток и рукопись. Выглядела она не очень-то заманчиво для собирателей старины: бумага из ученической тетради, фиолетовые чернила, полууставной почерк, которому явно нет и полувека. Да и содержание сначала разочаровывало — сочинение было



составлено лишь в конце XIX в. неким уральским отцом Нифонтом, в числе источников упоминался какой-то гимназический курс истории церкви, известные исследования по истории старообрядчества. Лишь позднее, при более внимательном изучении рукописи удалось обнаружить, что Нифонт широко и, к счастью, довольно механически, без переработки использовал абсолютно неизвестные науке произведения крестьянских историографов — уральцев и сибиряков XVIII в.

Но когда мы среди прочих книг бегло просматривали эту некачественную рукопись, она казалась не очень интересной. Мы попытались, однако, приобрести ее — безуспешно. После долгих утомительных переговоров удалось лишь упросить владельца передать нам завтра рукопись для копирования на несколько часов. Но за этот день все коренным образом изменилось из-за нашей случайной неосторожности.

Нас очень интересовал маленький, в три-четыре дома хутор неподалеку. Мы никак не могли найти контакт с его обитателями, хранившими какие-то старые книги. Неожиданно оказалось, что сын самого влиятельного из хуторских стариков — один из служителей Фемиды в районном центре. Он принял нас чрезвычайно любезно и с радостью согласился уговорить отца показать нам книги. Он предложил поехать к его отцу вместе с ним на милицейской машине, и мы, увы, согласились по неопытности, радуясь экономии времени. Визит прошел хорошо, сын убедил отца, что никаких дурных намерений мы не имеем, а работаем для науки, нам были показаны все книги (кстати говоря, не интересные для нас). Но на обратном пути, когда мы с благодарностями покидали машину, эту сцену заметила глазастая и въедливая старуха из того самого села, где мы накануне видели сочинения отца Нифонта. В тот же день все старообрядческие двери этого села были закрыты перед нами.

Старуха, конечно, могла насочинить о нас немало — мы знали уже ее буйную фантазию, когда она излагала нам собственные варианты старых византийских текстов о приметах приближения Страшного суда: эта популярная тема была расцвечена ею так, что ни в какие канонические рамки уже не вмещалась. Но и старухиных односельчан, поверивших ее рассказам о нас и испугавшихся наших расспросов о древних книгах, вполне можно было понять. Лет десять назад в этом районе по недомыслию уничтожили большое собрание древних книг, среди которых был, например, экземпляр одного из лучших изданий Ивана Федорова, Острожской библии, — и мы никогда не узнаем, что еще. Закрывая пред нами двери, старики были уверены, что спасают этим свои книги от уничтожения.



Так рукопись с сочинением отца Нифонта ушла от нас, скорее всего — навсегда. Но уже через неделю удалось обнаружить другой, более исправный и старый список его.

Мы сидели на небольшой поляне близ прилепившейся к скале мастерской по переписке книг, рядом с которой была и келья хозяина скита. Отец Палладий все в том же своем черном одеянии с простодушной гордостью рассказывал, как он не снимал его даже во время знаменитого своего тысячекilометрового пешего побега через непроходимые безлюдные горы; он демонстрировал нам случайно полученные перед этим походом от какого-то епископа навыки решения практических задач по исторической хронологии при помощи «руки Дамаскина». (Сделанные им в связи с этим таблицы и рисунки соотношения лунного и солнечного календарей были нам подарены и попали в хранилище рукописей СО АН лишь недавно, после смерти старика: на сороковины друзьям и знакомым раздавали книги его библиотеки.)

Разговор этот происходил в обстановке на редкость живописной — высокие горы подходили крутыми уступами скал к самой избушке, от скал к огородам был отведен по деревянному желобу ручей, а вся поляна перед нами была плотно заставлена раскрытыми славяно-русскими рукописями и изданиями всевозможных размеров, от огромной Толковой псалтыри весом более пуда до маленького Месяцеслова в 16°. Ручей весной разливался, в ущелье было влажно, книги отсырели, и мне удалось уговорить старика воспользоваться нашим присутствием и устроить просушку всей библиотеки. Ветер медленно перебирал листы книг. Беседа неторопливо переходила с одного сюжета на другой. Поглядев на нотную (крюковую) книгу, старик вспомнил, как обучался еще перед Русско-японской войной петь «по крюкам». Тогда он даже инсценировал самоубийство, чтобы его не искали родные и он смог получить необходимые для обучения несколько лет досуга (см. рис. 9 на цв. вклейке).

Заговорили о том, как часто гибли и гибнут книги, — следы огня или плесени были и на многих книгах вокруг нас. Старик достаточно близко к подлиннику пересказал известную повесть писателя времени Ивана Грозного Ивана Пересветова о том, как «турский салтан Махмуд» пытался сжечь греческие книги, но устранился чуда и пощадил их. Вспомнили о кострах из древних книг при царевне Софье и царицах XVIII в. И вполне естественным был вопрос: что знает наш хозяин о борьбе крестьян-старообрядцев Урала и Сибири во времена Анны Иоанновны и Елизаветы за свободу своих убеждений, против синодальных губителей старых книг, инквизиторов и миссионеров, снабженных для большей убедительности воинскими командами? И вот тут



неожиданно оказалось, что познания нашего собеседника в этой области много шире того, что известно науке, — он называл (хотя и сбивчиво) имена руководителей крестьянского протеста в XVIII в., о которых мы и понятия не имели. К счастью, старик не скрывал источника



*В руках у него откуда-то появилась книжица с двумя медными застёжками. Раскрыта на окончании письма М. И. Галанина С. И. Тюменскому и начале сочинения о. Максима*

своей поразительной осведомленности. В руках у него откуда-то появилась любовно переплетенная им в оленью кожу книжица с двумя медными застёжками.

Он открыл их. Там было не меньше двух сотен листов, переписанных четким полууставом нашего хозяина несколько десятилетий назад. Вся книга состояла из сочинений по истории урало-сибирских крестьян-старообрядцев XVIII и частично XIX вв., и ни одно из этих сочинений не было известно науке! Подлинность их легко доказывается.

По материалам этого сборника теперь сделано уже несколько научных докладов в Москве, Ленинграде и Новосибирске, подготовлены публикации и статьи, сведения отсюда включены в созданные ИИФиФ СО АН обобщающие труды: двухтомник истории русской



сибирской литературы и пятитомник истории сибирских крестьян. А недавно мы опубликовали и тексты сочинений староверов, помещенные в этой книге о Палладия.

Самое первое наше ознакомление с этими материалами состоялось в форме многочасового выразительного чтения для всех обитателей скита. Если учесть, что при этом надо было строго соблюдать старые нормы произношения (их нарушение — самая худшая рекомендация в такой среде), будет ясно, что эта неизбежная тогда форма знакомства с новым источником была не лучшей для анализа и научной критики его. Конечно, мы стали активно добиваться иных возможностей для изучения сборника, но не тут-то было. Лишь летом 1970 г. рукопись приехала в Академгородок для копирования — после нескольких посещений этого скита новосибирскими археографами нам стали больше доверять. К тому времени мы уже кое-что знали о многих из упоминаемых в ней крестьянах XVIII в.

Главное место в сборнике занимало то самое историческое сочинение отца Нифонта («Родословие» часовенного согласия), список которого ушел из наших рук из-за неосторожного пользования казенным транспортом. В этом сочинении, в частности, было сказано, что сведения о крестьянах XVIII в. были заимствованы Нифонтом из какого-то исторического произведения «ирюмского жителя Мирона Галанина».

Позднее, в одном сибирском городке, на окраине, в деревянном домике, насквозь проспиртованном от непрерывных возлияний, мы приобрели небольшую рукописную тетрадку, подтверждавшую это.

\* \* \*

Имя ирюмского крестьянина Мирона Ивановича Галанина в 40–50-х гг. XVIII в. было хорошо известно делопроизводителям и чинам Тобольского архиерейского дома, а через 30 лет оно не раз встречалось в делах Синода и даже Сената.

Известность была вполне заслуженной: среди тех, кто в те годы становился во главе мужественного сопротивления крестьян притеснениям и насилиям казенной церкви и самодержавия, он играл далеко не последнюю роль. Но посмертная слава — вещь крайне прихотливая. И хотя последователи Мирона Ивановича почти два столетия сохраняли память о нем, переписывали его произведения и сочинения о нем, весь этот пласт устной и письменной традиции слишком далеко отстоял от культуры верхов дореволюционной России. Пробудившийся после замечательных трудов А. П. Шапова интерес к народному старообрядческому протесту открыл науке немало подобных имен. Но до Мирона Ивановича очередь не дошла; труды





его, его имя оставались неизвестными и советской историографии. Это в общем-то понятно: трудно что-либо найти, когда неизвестно, что искать.

Обнаруженный в скриптории сборник называл ряд имен, можно было начинать целенаправленный поиск среди архивных документов, собраний рукописей библиотек и музеев, в археографических экспедициях.

То, что будет изложено об этом человеке и его соратниках ниже, открывалось постепенно сначала мне, а потом и моим новосибирским и уральским ученикам. Обнаружились документы судебно-следственных дел, отложившиеся в фонде главного противника М. Галанина — Тобольской духовной консистории. О его «злокозненных» делах тобольские духовные власти сообщали «наверх», в столицу. Поэтому успешными оказались поиски в фондах Синода и Сената. Веками власти неустанно разыскивали и конфисковывали старообрядческие книги, большая часть их сжигалась, но кое-что откладывалось в фондах соответствующих церковных и карательных учреждений. Следы жизни и творчества Мирона Ивановича Галанина обнаружались и среди этих книг. Постепенно заполнялись многие лакуны его биографии, относившиеся ко второй половине XVIII в. Но долгое время последние сведения о нем обрывались на документах об его руководстве массовым антицерковным движением 1782–1784 гг. Что с ним было потом, как он окончил свои дни — мне было неизвестно. Но затем была опубликована статья моего ученика, уральского археографа, В. И. Байдина, относящаяся как раз к последнему периоду жизни и деятельности М. И. Галанина. Уральские археографы быстро преуспели в розыске сочинений местных крестьянских писателей. Среди них были и люди, упоминавшиеся в том нашем сибирском сборнике. Несколько входивших в его состав источников были найдены в других, подчас лучших редакциях. Среди этих сочинений центральным было «Родословие» наиболее массового на востоке страны «часовенного» согласия старообрядцев, к которому принадлежал и Мирон Иванович Галанин. Уральцы нашли потом более раннюю редакцию этого «Родословия», нашли и другие «родословия», нашли материалы крестьянских соборов первой половины XIX в., в которых не раз упоминалось имя Мирона Ивановича. Когда мы узнали об этих соборах, появилось новое направление поиска. Наша аспирантка Л. С. Соболева в горах Средней Сибири обнаружила рукопись, в 1928 г. принадлежавшую уже знакомой нам матушке Измарагде; в ней оказались материалы одного из таких соборов — Невьянского (1777 г.); много позднее мы получили с Нижнего Енисея и постановления Кирсановского собора, происходившего в 1789 г. в



доме Мирона Ивановича. Его имя мы находим среди подписавших эти два документа.

Так постепенно выяснилась эта интересная биография. Имя М. И. Галанина впервые появляется в судебно-следственных материалах Тобольской консистории на грани 1740-х и 1750-х гг. В это время в деревнях, затерянных среди обширных болот и лесов Тюменского уезда, вокруг Мирона Ивановича складывался один из очагов сопротивления духовным и светским властям. Проповедь Галанина увлекала в далекие лесные избышки многих крестьян, убежавших от налогов, от притеснения попов-«щепотников». Это были годы правления в Тобольске митрополита Сильвестра Гловатского, предпоследнего представителя украинского духовенства на тобольской кафедре. Он был щедро наделен всеми теми достоинствами и недостатками, которые характеризовали многих видных представителей украинского духовенства, в течение столетия оказывавших серьезное влияние на великорусскую церковную жизнь. Он являлся активным поборником духовного образования, фанатичным борцом за православную ортодоксию в украинском ее варианте, неустанным, хотя и недостаточно гибким миссионером, считавшим распространение православия среди инаковерующих одной из главных задач церкви и охотно прибегавшим к насилию для выполнения этой задачи. Резкость и самоуверенность сочетались в нем с непосредственным восхищением собственными талантами. Он любил сообщать поэтому членам Синода о победах его риторики над косностью старообрядцев во время архипастырских увещаний, забывая упомянуть при этом, что его красноречие подкреплялось пытками, казематами, грядущим приговором суда. Тот пыл, с которым он принялся за искоренение старообрядчества в своей епархии, быстро превратил напряженную обстановку в тюменских старообрядческих деревнях в критическую. Одна за другой, в ответ на насилие Сильвестра, запылали гари. Сильвестр неустанно бьет тревогу, в десятках писем в столицу требует применения все более суровых мер, изобретает неизвестные до толе репрессии. Каждая из этих яростных бумаг завершается твердой четкой подписью, украшенной тремя росчерками: «святейшаго правительствующаго Синода послушник, смиренный Сильвестр, митрополит Тобольский». Вся эта миссионерская деятельность примет настолько опустошительные размеры, что в 1755 г. Сильвестра уберут из Тобольска.

В разгар всей этой борьбы в лесных убежищах Мирона Галанина стало особенно многолюдно. Шумные сборища укрывавшихся здесь окрестных жителей обсуждали неизбежность традиционного трагического ответа на преследования в случае, если они будут об-



наружены военными командами, посланными для их поиска. Но беглецов тогда не обнаружили, и самосожжение не состоялось. Местоположение тайных лесных избушек Галанина стало известно властям лишь позднее, когда общий накал борьбы стал временно стихать. О главном тайнике Мирона Ивановича, расположенном вдали от населенных мест, «между непроходимыми и великими болотами на острове в великих лесах в двух избушках», донес в Тобольскую консисторию церковный дьячок села Карматского Антон Байбалов. В марте 1754 г. трое карматских церковнослужителей, взяв с собою трех вооруженных татар, преодолели по зимнему пути болото и попытались захватить обитателей этого скита. С Галаниным в это время, кроме его друга Михаила Девяшева, было лишь четверо беглых крестьян, остальные скрывались в соседних лесах.

Тем не менее священнику Григорию Мухину пришлось донести, что экспедиция его не увенчалась успехом: «Оных раскольников за многолюдством и отгнанием оружием и копьями мне в малолудстве взять было невозможно».

Перед началом этого «отгнания» староверы успели не без гордости сообщить, что в подобных избушках собралось изрядное число крестьян Исетской провинции, убежавших от преследований и готовых «гореть за веру Христову». Открывшийся немедленно после этого двухчасовой диспут о выяснении истинной веры окончился не в пользу служителей официальной церковной догмы: Мирон и Михаил «на увещания не склонились, но тотчас лаятели и терзатели матерь нашу церковь кафолическую явились и называли еретической». Мало того, Галанин даже называл при этом самого тобольского митрополита халдеем — аттестация весьма оскорбительная для каждого, почитающего Ветхий завет (вскоре Галанин имел возможность и смелость повторить эту выразительную характеристику в застенках Тюмени и Тобольска).

Не осилив своих идейных противников в открытом споре, церковники прибегли к более привычному методу убеждения и вызвали военную команду во главе с самим тюменским воеводой; Галанин и пятеро его товарищей были арестованы. Еще несколько лет воинские команды вылавливали по окрестным лесам крестьян, бывших «в зборище к сожжению с Мироном Галаниным». Интересно отметить, что при захвате в декабре 1755 г. группы крестьян из окружения Галанина у них была найдена среди других «книга письменная гладью (т. е. скорописью.— *Н. П.*) о разном раскольническом толковании, да тетрадок гладью писаны и малерованая, всего 11». Почти тридцать лет спустя, в 1784 г., при новом аресте друга Галанина Михаила Девяшева (он и на этот раз был арестован одновременно с Галаниным) было захвачено 30 книг и рукописей.



Первое заточение Мирона Галанина было очень длительным и мучительным. Он смог опять вернуться на родину, на Ирюм, лишь через двадцать долгих лет, претерпев в тобольских казематах немало пыток и истязаний. 2 октября 1774 г. он сообщает своему другу Степану Ивановичу Тюменскому: «Пишу со слезами от радости, друг мой присный, что сподобил мя господь видеть родной мой край; много было горя, когда я находился в городе Тобольске». В тюремных подвалах Тобольского архиерейского дома, в кельях Знаменского монастыря закованных в колодки, притянутых цепями к стене узников в перерыве между пытками консисторские чины убеждали вернуться «в ограду» официальной церкви; отказавшиеся обратиться в православие погибали обычно довольно быстро, и следственные дела таких упрямцев заканчивались стереотипным приказанием митрополита — «загрести мертвые тела» в овраге за городом тайно, без погребального обряда. Не удивительно, что отказы узников от старообрядчества, хотя бы внешние, при таких условиях были частым явлением.

Но Галанина не удалось ни сломить, ни замучить. Много позднее, в 1784 г., во время новых духовно-полицейских «увещаний» отказаться от своей веры, Мирон Иванович не без гордости отвечал священникам, что оставался тверд и в более тяжелых испытаниях: «И голова де уже моя на плахе была, и кнутом бит неоднократно, и руки в хомуте были, и рога на шее носил, и в книги ваши росписи духовные (церковных прихожан. — *Н. П.*) меня не пишете».

Гордо и стойко перенесший все муки крестьянин пользовался в Ялуторовском уезде огромным влиянием и умело использовал свой нелегко добытый престиж мученика. Уже через несколько лет после возвращения Галанина на родину Тобольская консистория и Синод убедились, какую дорогую цену официальной церкви придется уплатить за традиционно-полицейское завершение диспута о вере с Галаниным в 1754 г. и его последующие многолетние мучения. Весь свой большой авторитет Мирон Галанин, действуя вместе со своими друзьями Сергеем Софоновым, Елизаром Печерским и Михаилом Девяшевым, направил в 1782 г. на поддержку и активизацию, пожалуй, наиболее массового из антицерковных выступлений западносибирских крестьян в XVIII в.

Осенью 1783 г. священник Василий Машенов и дьячок Захар Вавилов обнаружили в деревне Курсановой в Зауралье одну из крестьянских сходок, проводимых Мироном Галаниным. В доносе они так описывали ее: «Помянутой дьячок Вавилов, пришед к дому крестьянина Мирона Галанина, и услышал у ево избы, что он говорит голосно и... не входя в избу, отодвинул притвор окошка, и увидел, что он, Галанин, среди избы на стуле сидит и книгу в руках держит, которую,



слышно, и читал, только понять с науличья не можно было. На что он, Вавилов, спросил ево, Галанина: „Чему ты учишь?“ И Галанин-де, свернув книгу ту, спрятал ее за пазуху и ему не показал, и в то время было у него, Галанина, людей в избе на пример человек з двадцать иль тридцать мужеска и женска пола, и он-де, Галанин, видно явной лжеучитель». Другие подобные встречи Мирона Галанина и его друзей с увещателями заканчивались и более остро. Однажды крестьяне даже пригрозили применить огнестрельное оружие, причем С. Софонов для вящей убедительности «вынес три пистолета, в кои насыпал пороху, и, прибив пыжем, в окно стрелял раза три». Когда в другой раз клирики попытались превратить увещательную беседу в настоящий допрос, тот же С. Сафонов «начал злобиться и поносить весь духовный чин, а дьякона Андреева матерною скверною бранью ругал и называл кобылою и повесою, и брал ево, дьякона, за ворот и тряс и говоря дьякону, что я де тебе засвечю — то есть ударю — от которого ты растаешь».

Страстная агитация Мирона Галанина и других крестьянских вожakov происходила в момент бурного подъема широкого движения зауральских крестьян за свободу выбора своего варианта православной веры. Движение было спровоцировано руководством сибирской церкви, которое попыталось превратить уступки просветительского курса правительства Екатерины II в религиозной сфере в нечто прямо противоположное, в очередной государственный нажим на старообрядцев. Несколько тысяч ялutorовских крестьян, охваченных этим движением протеста, оформляли свой выход из церковных приходов, демонстрировали на каждом шагу свою враждебность к официальной Церкви и ее служителям, отказывались от уплаты всех налогов и поборов в пользу церкви и духовенства. Делом этим пришлось заниматься не только Синоду, но и Сенату. Положение сибирского духовенства осложнялось запутанными просветительскими проектами екатерининского вельможи, героя Хотина Е. П. Кашкина, генерал-губернатора Пермского и Тобольского. Светские власти сначала колебались, не желая обострять положение и справедливо опасаясь новых самосожжений в ответ на репрессии. В конце концов они все же уступили церковникам и санкционировали проведение экзекуций военно-карательными экспедициями, пойдя одновременно на некоторые уступки старообрядчеству. Мирон Галанин и его друзья опять попали под арест, длительность которого нам неизвестна.

В конце XVIII — начале XIX в. Мирон Иванович Галанин — руководитель наиболее радикального, наиболее враждебного синодальной Церкви ирюмского крестьянского центра старообрядчества. Он занимается активной организаторской и публицистической деятель-



ностью, отстаивая свою позицию, борясь против умеренных, соглашательских направлений в часовенном согласии, ориентирующихся не на крестьянский радикализм, а на стремление екатеринбургских купцов нащупать соглашение с властью.

Умер М. И. Галанин в 1806 г.

Небольшая рукописная книжка из горного скриптория подарила нам неизвестного прежде писателя: организатор крестьянских выступлений Мирон Галанин хорошо владел пером. До 1970 г. нам были известны лишь выдержки из его обширного исторического сочинения, процитированные Нифонтом в «Родословии». Само это сочинение до сих пор еще не найдено. Но летний археографический сезон 1970 г. принес нам полный текст его послания к другу, Стефану Ивановичу Тюменскому, от 2 октября 1774 г. Навестив хозяина того же скриптория этим летом, мы обнаружили все в том же сборнике несколько дополнительных листов, исписанных его характерным беглым почерком. Они и содержали послание к Стефану Ивановичу Тюменскому (Степану Иванову).

Послание написано хорошим повествовательным слогом, язык его прост и близок подчас к разговорному, но абсолютно лишен характерных для многих старообрядческих авторов цветистых риторических украшений или тяжеловесных подражаний древнерусскому стилю. Вместе с тем это эмоциональный, страстный рассказ. М. И. Галанин умело сочетает собственные наблюдения с документальным материалом. Послание содержит яркое описание долгих лет его заточения в Тобольске, сообщает о других узниках тобольских церковных тюрем. Очень интересны упоминания о том, что в Тобольске, в Знаменском монастыре «находился первый наш подвижник и страдалец за истинную веру протопоп Аввакум». Сведения о жизни Аввакума в Тобольске и его ссылке на Лену Галанин заключает чрезвычайно любопытным указанием источника: «...много было жития Аввакумова выписано из архивы, записи сибирской истории, лист 119». Увы, нам сейчас неизвестен этот источник о жизни Аввакума в Тобольске, который видел М. И. Галанин. Через несколько строк послания — новая ссылка на архив: «...если прочитать дела Тобольского архива», то можно узнать про «страшные и зверские попытки властей, как духовных, так и гражданских» уничтожить сибирское старообрядчество. Галанин приводит даты этих попыток; некоторые из них явно искажены при переписке, другие же соответствуют реальным датам гонений на урало-сибирских старообрядцев, которые действительно прослеживаются по делам архива Тобольской консистории.

Мысль о том, что узник, неоднократно подвергавшийся пыткам, мог так хорошо знать дела Тобольского консисторского архива, ка-



жется невероятной. Однако приходится признать, что грамотному и смелому крестьянину это как-то удалось.

Галанин сообщает о законодательных мерах Елизаветы против раскола. Излишние в частном письме к человеку, хорошо знакомому с ее указами на практике, они необходимы Мирону Галанину в качестве составной части его повествования по истории преследования урало-сибирских старообрядцев; автор явно рассчитывал, что его послание к другу, как это нередко случалось, станет известно более широкому кругу единомышленников.

Царистские иллюзии сибирского крестьянства несомненно видны в этом послании, не предназначавшемся для правительственных глаз. Галанин глубоко благодарен Екатерине II за облегчение участи старообрядцев и собственное освобождение: «Настало время тишины, с воцарением императрицы Екатерины Второй в 1762 году нам дарована свобода». «И мне, грешному и недостойному, сподобил господь пользоваться милостию царицы Екатерины, и освободили меня на свободу из тобольских казематов монастырских, славить нужно всевышнего бога в молитвах и молиться за державную императрицу, за здравие ея». Следует, однако, внести здесь важные коррективы.

Прежде всего, славословия в адрес милостивой царицы Екатерины II (чаще именно царицы, а не императрицы — Галанин обычно не признавал императорского титула, что светские власти были склонны рассматривать как политическое преступление) сочетаются в послании с враждебным отношением к предыдущей царице — Елизавете, преследовавшей старообрядцев. «Боюсь описывать, как с нами... обращались властью престола царицы Елизаветы Петровны, какия строгия меры были приняты в 1744 году». Таким образом, царистские настроения крестьянства здесь уже обусловлены реальным отношением царской власти к последователям старой веры. В тех случаях, когда союз господствующей церкви и самодержавия принимает наиболее откровенные формы полицейских преследований противников церкви, старообрядческая оппозиция никонианам неизбежно приводит и к осуждению «власти престола царицы». Более гибкая форма союза церкви и государства при Екатерине II опять возрождает у Галанина надежды на «милости царицы Екатерины».

Но отношение Галанина к императорской власти опять резко меняется, как только от имени этой власти начинают издаваться указы, губительные для урало-сибирского старообрядчества. Галанин, конечно, встретил эти указы враждебно; церковные власти поспешили донести о сознательном неповиновении крестьянского бунтаря, гордо заявившего: «Я-де в етом (в вопросах религиозной совести.— *Н. П.*) государыне неподсуден и приказу ея не слушаю». Галанина тут же попытались объявить сумасшедшим, а когда это не получилось, аресто-



вали за неповиновение императорской власти. Такова мотивированность царистских иллюзий сибирского крестьянина-старообрядца М. И. Галанина.

Его отношение к господствующей церкви было менее противоречиво — это ровная, однозначная ненависть. Она сквозит в каждой строке его послания, донесшего до нас страстное свидетельство очевидца и жертвы полицейских преследований церковников..

Однажды я с новой экспедиционной группой путешествовал по Зауралью. Уже вышли из печати первые работы об ирюмских крестьянских писателях. Под колесами нашего автобуса простучали доски деревянного мостика, переброшенного через небольшую речушку, воробью по колено. Я посмотрел на дорожный указатель и гордо возгласил: «Это и есть Ирюм!» Маршрут наш пролегал через родное село Мирона Ивановича. И стоило назвать его имя, как обнаружилось удивительное: один старик тут же принес из дома недавно переписанное им сочинение Галанина, другой объяснил, как пройти к его могиле.

\* \* \*

Современником, соратником и соперником Мирона Ивановича Галанина был другой крестьянский писатель — Максим (около 1715–1783), беглый холоп, ставший позднее руководителем одного из самых влиятельных скитских центров урало-сибирских старообрядцев, известных своей умеренной позицией.

Умерший через пять лет после Максима, его последователь, уральский старообрядец Стахий Васильевич Кривоспицын составил биографию Максима, которая широко цитируется в нескольких сочинениях XIX в., обнаруженных нами все в том же первом сборнике, а также найденных в ходе последующих археографических экспедиций, новосибирских и свердловских. Одно обширное сочинение Максима было переписано владельцами скриптория в том же сборнике, другое мне удалось обнаружить в судебно-следственных делах Синода. В материалах уральских соборов нашлось несколько упоминаний о Максиме.

В результате нам известно уже немало об этой необычной жизни, но остается еще много загадок и даже противоречий.

Максим не был русским, он происходил из мусульманской семьи. Известны случаи крещения в старообрядчество западносибирских татар — под влиянием пропаганды соседних крестьян-старообрядцев. Но случай с Максимом — особенный. Стахий Кривоспицын сообщает, что Максим был «родом от страны срацынская, агарянских родителей нарицаемых нагльских (нагайских. — *Н. П.*) татар». Он был взят в





плен русскими войсками еще малолетним около 1724 г. Затем он стал слугой некоего господина Змеева. С. Кривоспицын не жалеет розовых красок, описывая, как любил хозяин своего слугу: у Змеева Михаил «проживал в совершенной его милости и по домашней экономии в полной доверенности». Однако он все же бежал от доброго господина. Биограф очень дипломатично описывает этот поступок своего героя: «Со старообрядцами от него, господина Змеева, отлучился». Отлучка эта продолжалась почти шесть десятков лет, до самой смерти холопа.

После долгих скитаний по «разным градским и пустынным местам» Михаил в 1729 г. добрался до Нижне-Тагильского завода, где беглые чувствовали тогда себя безопасно. Здесь он был принят известным священноиноком Иовом и через некоторое время пострижен под именем Максима. Принятие пострига из столь авторитетных рук сразу выдвинуло его. К тому же Максим не захотел оставаться одним из многочисленных иноков в Нижнем Тагиле, а ушел в 1731 г., после смерти Иова, в знаменитый скит Дионисия, расположенный тогда в лесах близ Черноисточенского завода. После смерти Дионисия он был избран его преемником. Именно из этого известного идеологического центра уральского старообрядчества вышли в XIX в. Валентин и Нифонт, создатели «Родословия» часовенного старообрядчества.

В 1735 г. Василий Никитич Татищев, возглавлявший тогда уральское горное ведомство, предпринял попытку поимки обитателей уральских скитов; речь об этих событиях будет идти в следующей главе. Здесь же мы лишь укажем, что скит Дионисия — Максима счастливо избежал этой широкой татищевской «выгонки». Однако вскоре пришлось все же покинуть насиженные места: то, что не удалось Татищеву, удалось каким-то местным разбойникам, беспокоившим обитателей скита своими частыми набегами. Максим с братиею поселился в самом Нижне-Тагильском заводе, где его скит на долгие годы станет важнейшим центром старообрядческой пропаганды на Урале.

Одним из главных вопросов, волнующих в это время уральских старообрядцев — часовенных, был вопрос о приеме беглых никонианских попов. Это была обычная практика поповских направлений старообрядчества, но именно в это время на востоке страны она начинает встречать растущее сопротивление со стороны более радикально настроенных крестьянских масс. Для них даже такой контакт с антихристовой никонианской церковью — недопустимая уступка силам социального зла. Свой отказ от недавней практики приема беглых попов они внешне объясняли рассуждениями о том, что в последние годы в никонианских епархиях распространяется католическое обливательное крещение. За всеми этими спорами скрывалась расту-



щая враждебность крестьянских старообрядческих общин к казенной церкви. Одним из активных выразителей этих настроений был Мирон Галанин. Максим возглавил в эти годы противоположную партию — сторонников более умеренного курса. В 1765 г. он отправляется из Нижнего Тагила в неблизкий путь — в Москву, с целью найти авторитетные аргументы в поддержку своей позиции. Какими-то таинственными путями он пробрался в московские церковные архивы. Там он нашел документы и некую летопись, на основании которых решил, что архиереи Грузинский и Рязанский не были крещены обливательно и поэтому уральские старообрядцы могут принимать попов, бежавших из их епархий. Эта компромиссная позиция Максима имела некоторое распространение на Урале, пока, как мы говорили выше, не победила в 1840 г. точка зрения Мирона Галанина, отвергавшего любых попов-никониан.

Такова жизнь холопа Максима, как нам ее рисует его биография и документы Тобольской консистории и Синода. Однако неожиданно оказалось, что сведения эти противоречат самим сочинениям Максима, и, в первую очередь, его главному произведению, посвященному как раз критике приема беглых попов.

Сочинение это представляет собой собрание многочисленных выписок из Священного Писания, Кормчей, отцов Церкви. Эти выписки сгруппированы в определенном тематическом порядке, сопровождаются комментарием — «Надсловием здравого разума отца Максима»; ему же принадлежат обширное вступление и заключение, а также несколько связующих рассуждений. Все они написаны торжественным, тяжелым языком; фразы чрезвычайно длинные, придаточные предложения нанизываются одно на другое. Общий вывод Максима выражен достаточно категорично и недвусмысленно: лучше быть вообще без священников и церковных таинств, чем принимать их от господствующей церкви; это «приятие не суть освещение, но паче осквернение, и не спасение души, но потемнение и гибель».

Так это и остается загадкой — резкое противоречие между практической деятельностью Максима и духом его сочинений. Вероятно, в жизни этого человека были неизвестные нам крутые повороты. Может быть, на один из них намекает недавняя находка свердловских археографов. Она свидетельствует, что на каком-то из соборов часовенных за прекращение приема священников от господствующей церкви вместе с Мироном Галаниным выступал некий Максим Кармацкий. Кармаки — арена действий и Мирона Галанина, и бывшего холопа Максима. Но, скорее всего, это какой-либо другой Максим. Кто именно — ответа пока нет.



\* \* \*

Все сказанное выше — лишь первый этап поразительного феномена возвращения из небытия урало-сибирской крестьянской литературы XVIII–XIX вв., — из небытия, вызванного нашим невниманием, неумением разглядеть реальные законы развития народной культуры, инстинктивным нежеланием замечать все то, что не вполне соответствует нашим стандартным представлениям о «научно-обобщенной» истории страны.

Этот первый этап связан для меня прежде всего с именами и текстами, помещенными в той небольшой книжице, с которой познакомил нас хозяин горного скриптория. Но вскоре в поиск включились новые силы, в том числе наши студенты и аспиранты. На глазах заполнялись лакуны, появлялись новые авторы, сочинения — и новые загадки, недоумения. Разыскания то отходили достаточно далеко от первой книжицы в оленьей коже, то неожиданно опять возвращались к ней. Так, наряду с именами народных писателей, в ней упоминались и сподвижники Мирона и Максима — крестьяне-художники XVIII в. Тимофей Заверткин и Григорий Коскин. Удалось узнать подробности их биографий, их борьбы, обнаружить интересное публицистическое послание Т. Заверткина (беглого крепостного графа Б. П. Шереметьева), созданное в 1768 г. Началось изучение урало-сибирской народной живописи XVIII–XIX вв., был обнаружен целый семейный архив нескольких поколений крестьян-художников со многими документами и изображениями.

Эти последние находки связаны уже с деятельностью нового археографического центра — свердловского. Под энергичным руководством свердловского историка Рудольфа Германовича Пихои, используя опыт археографов Ленинграда, Москвы и Новосибирска, уральские ученые провели десятки экспедиций, в том числе и по местам, где когда-то действовали герои этой главы. Находятся все новые сочинения М. И. Галанина и Максима, обнаруживаются имена новых писателей из народа. Число спасенных уральскими экспедициями книг XVI–XIX вв. уже исчисляется тысячами, они составляют более двадцати территориальных собраний.

Новосибирск и Екатеринбург работают в добром согласии, иначе нельзя — ведь археографы обоих центров изучают по сути один и тот же объект — народную культуру востока страны. И не раз случилось, что продолжение сюжетов, на которые выходили в Новосибирске, обнаруживалось на Урале. Но подчас здесь появлялись такие направления поиска, о которых мы и не подозревали. Так, сотрудник УрГУ В. И. Байдин, один из моих учеников, обратил внимание на находившееся в уральском сборнике начала 1840-х годов «Слово Иоан-



на Златоуста о лжеучителях». Это хорошо известный в старообрядческой среде памятник, но оказалось, что в сборнике под этим заглавием шел совершенно иной текст — оригинальное сочинение, остро и умело клеймящее новых «лжеучителей», священников господствующей церкви, забывших заветы нестяжания и умеренности (более поздний список того же «Слова» приобрел потом в Зауралье и я). В том же сборнике начала 1840-х годов было и другое оригинальное произведение, в котором отдавалась дань известной легенде о Наполеоне I как антихристе, а также содержался страстный протест против бюрократически-крепостнических элементов реформы государственной деревни, проводимой министром П. Д. Киселевым. Реформа эта вызвала на Урале широкие крестьянские волнения, дело дошло до настоящих сражений, когда восставшие крестьяне были разогнаны артиллерийским огнем. В Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде я видел собственноручные инструкции Николая I о наказании бунтовщиков — царя особенно возмутила проявившаяся во время волнений особая ненависть восставших крестьян к господствующей церкви и ее священникам. Так опять обнаружилась связь крестьянской литературы с крестьянской борьбой за справедливость.

Сочинение отца Нифонта, с которым в 1966 г. познакомил меня хозяин скриптория, стало первым известным нам «родословием» (оказывается, так называли на востоке страны сочинения по истории местных старообрядческих центров, согласий). Работа уральских коллег открыла еще четыре разных «Родословия». Самым интересным из них оказалось, пожалуй, поморское, связанное с крупным центром этого согласия, функционировавшим в XVIII–XIX вв. в селе Таватуй близ Екатеринбурга. Однажды на одной из археографических конференций, где мы обычно обменивались информацией о новых находках, свердловские друзья стали настоятельно расспрашивать нас, не попадались ли нам в документах какие-либо сведения о графе Игнatii Семеновиче Воронцове, друге детства царя Алексея Михайловича, ставшем затем основателем тайного поморского центра в Таватуе. Так изображалась история возникновения этого центра в трех списках поморского «Родословия» и устном предании, записанном в с. Таватуй в 1978 г. свердловским филологом Ларисой Степановной Соболевой (получившей свой первый археографический опыт в наших экспедициях).

Никакой полезной информации мы тогда дать свердловчанам не смогли — в неплохо известную генеалогию Воронцовых рассказ о графе-отшельнике не укладывался. Решение — и очень неожиданное — нашли вскоре сами уральцы, о нем сообщила научная публи-



кация, сделанная тогдашним руководителем археографов УрГУ Р. Г. Пихоей и Л. С. Соболевой. Не буду пересказывать ее, тем паче что вскоре в Свердловске выходит в свет и популярная книга об уральских находках, излагающая всю эту историю<sup>1</sup>. Упомяну лишь, что вместо народного варианта толстовского рассказа об отце Сергии подлинные судебно-следственные документы нарисовали яркую реальную биографию ссыльного донского казака Игнатия Семеновича Воронкова, превращенного крестьянским сознанием в вельможу, ушедшего из несправедливого мира антихриста в уральские леса.

---

<sup>1</sup> Вышла она в Свердловске в 1989 г.: «Книги старого Урала». Составитель и редактор Р. Г. Пихоя.

Глава 3

**ИСТОРИОГРАФ ТАТИЩЕВ  
И УРАЛЬСКИЕ КЕРЖАКИ**



**П**осле первого сборника крестьянских урало-сибирских сочинений, с которым мы знакомимся в том горном скриптории, немало других подобных же сборников обнаружили на огромном пространстве востока страны, приобрели или скопировали археографы Новосибирска и Свердловска. В сочетании с архивными документами эти сборники рассказывают увлекательнейшие истории перипетий крестьянской борьбы против казенной веры и полицейского государства. Судьбы многих из крестьянских вожаков, подобно судьбам Мирона Галанина и холопа Максима, могли бы стать канвой остросюжетных рассказов. И почти во всех этих историях большую роль будут играть книги — сочинения самих крестьян, произведения прежних веков, бережно хранимые в крестьянских тайниках, внимательно читавшиеся в разгар самой яростной борьбы. Историки и филологи наших дней все больше и больше интересуются кругом чтения людей прошлых эпох, составом их библиотек. История, к которой мы сейчас приступаем, могла бы быть раскрыта как противостояние двух библиотечных каталогов, списков двух книжных собраний, принадлежавших главным противоборствующим персонажам этой истории. Один из них — знаменитый историограф, культурнейший человек своего времени, уральский горный начальник Василий Никитич Татищев, основатель Екатеринбурга. Другой — Родион Федорович Набатов, беглый крестьянин, рудознатец, демидовский приказчик, организатор широкой противоправительственной деятельности.

Каталог екатеринбургской библиотеки В. Н. Татищева, переданной им в 1737 г. городу, нашли молодые новосибирские исследователи И. А. Гузнер и Л. А. Ситников в 1970-х гг. Интерес к этому документу был столь велик, что пока сибирские ученые готовили его издание, каталог успел издать в авторитетнейшем столичном ежегоднике московский исследователь В. С. Астраханский — историки спорили между собою за право издания каталога. И действительно, это замечательный документ эпохи. В нем числится 617 томов (571 название) на общую сумму 1 039 рублей 39 копеек по ценам того времени. На русском языке только 54 тома, остальные книги изданы на разных языках в Англии, Австрии, Германии, Голландии, Польше, Швеции, Швейцарии, Франции. Кроме большого количества книг по истории (146), в екатеринбургской библиотеке знаменитого истори-



ографа были книги по географии (32), грамматике (24), математике (19), медицине (10), военному делу (10).

В 1752 г. в руки церковных следователей попал составленный Родионом Набатовым в 1745 г. каталог 50 книг его библиотеки. Это традиционные для старообрядческой библиотеки книги: тексты священного Писания, творения отцов Церкви, богослужebные книги, по-



*В. Н. Татищев*

лемические сочинения старообрядческих писателей. Но в его библиотеке есть уже и несколько светских книг. Наряду с каким-то «Описанием Рима с пределы» мы видим здесь книгу, имеющуюся и в библиотеке Татищева: «Ифика и иерополитика и философия нравоучительная»,— составленное в кругах, близких к Киевской академии, наставление о воспитании юношества. Среди русских книг библиотеки В. Н. Татищева мы находим какое-то «Киевское деяние» — по всей видимости, сочиненная церковью в начале XVIII в. антистарообрядческая фальшивка «Деяние на Мартина еретика» Киевского собора 1157 г. Фальшивка эта была блестяще разоблачена старообряд-





ческими поморскими палеографами, руководителями Выговской пустыни братьями Денисовыми, и это разоблачение по праву считается началом русской научной палеографии, подобно тому как «История Российская» В. Н. Татищева — началом русской исторической науки. В библиотеке Набатова имелась запрещенная церковью рукопись сочинения Денисовых с этим разоблачением — «Поморские ответы».

В библиотеке В. Н. Татищева немало естественно-научных книг, в том числе трактат Уилкинса «В защиту Коперника». Родион Набатов, в жизни которого такую большую роль играла удача рудознатца, счастье строителя, риск заговорщика, держал в своей библиотеке популярное тогда руководство по магии Раймунда Люллия (к которому мы еще вернемся в шестой главе).

Две культуры противостоят друг другу в этих каталогах, два мира — допетровской Руси и послепетровской. И тем интереснее отметить причудливую логику истории: оба эти человека, боровшиеся друг с другом, во многом делали общее дело. Разными путями и с разных сторон развивали они уральскую промышленность, искали руды и строили рудники, способствовали развитию торговли. Все это двигало старую феодальную Россию по новым буржуазным путям. Подчас логика истории в деятельности этих двух людей приобретает даже «перевернутый» вид. «Птенец гнезда Петрова» Василий Никитич, всячески содействуя развитию горнозаводского Урала, стремится в то же время поставить это развитие в строгие рамки законодательства русского регулярного государства. Будучи сам помещиком рачительным и экономным, он, естественно, не любил крестьянского побега и поддерживал всей душой суровое законодательство против беглых. Когда он прибыл на Урал, то обнаружил, что леса близ демидовских и осокинских заводов наполнены тысячами беглых. Борьба Татищева с этим явным беспорядком лишала уральские заводы своеобразного, но широкого рынка вольнонаемного труда, способствовала укреплению на Урале ретроградных принципов крепостной мануфактуры. А борьба Родиона Набатова с суровым историографом оборачивалась, таким образом, борьбой за более передовую, буржуазную промышленность Урала.

Содержание нашей истории как раз и составляет их столкновение вокруг вопроса о беглых, которые в большинстве своем были старообрядцами, беглецами с недавно разгромленного правительством Петра I Керженца.

23 марта 1734 г. действительный тайный советник Василий Никитич Татищев был назначен начальником всего Урало-Сибирского горнозаводского округа, причем в императорской инструкции при его назначении было записано категорическое требование: строго



следить за частными заводчиками, чтобы они «беглых крестьян не приманивали и не держали», и «чтоб пришлые из русских городов ни под каким именем как при казенных, так и при партикулярных заводах не селились и на житье не оставались». Уже первые активные мероприятия В. Н. Татищева по выполнению этой инструкции крайне обеспокоили заводчиков и их приказчиков. Последние попытались было вернуть старые блаженные времена при помощи испытанного средства — взятки.

Но момент был неудачным. Как раз перед своим назначением в Екатеринбург Василий Никитич имел веский повод пожалеть о былой своей откровенности, когда он искренне доказывал самому августейшему преобразователю России, что разумная взятка поощряет полезное для государства служебное рвение взяткополучателя. Уже при Анне Иоанновне разоблачение соответствующих этой теории действий начальника Монетного двора В. Н. Татищева грозило ему немалыми неприятностями. Императрица, правда, замяла дело, памятуя о заслугах Татищева во время борьбы при ее восшествии на престол. Однако Татищев получил не оправдание, а лишь помилование. В Екатеринбурге он демонстрировал свою неподкупность. Верхушка екатеринбургского старообрядчества была поражена невероятным известием, что новый сановник отказался принять традиционное подношение в тысячу рублей. Успокоительная интерпретация происшедшего — будто неувязка произошла лишь из-за цены — рухнула уже на следующий день, когда Татищев отказался и от удвоенной взятки. Не помогли искренние разъяснения, что такса именно такова, что именно столько брал его предшественник. Уральские старообрядцы поняли, что надо готовиться к крупным неприятностям.

Вот как это описывал сам Василий Никитич в письме к всесильному графу Андрею Ивановичу Остерману, рассчитывая, конечно, на то, что императрице станет известно о его бескорыстии: «О здешних делах ныне иного донести не имею, токмо что раскольников по всем заводам стали переписывать, и хотя я думал, что их душ 1 000 либо наберется, однако слышу от них самих, что их более 3 тысяч будет. От оных приходил ко мне первый здешний купец Осенев и приносил 1 000 рублей, и хотя при том никакой просьбы не представлял, а однако ж я мог вырозуметь, чтоб я с ними так же поступил, как и прежние; я ему отрекся, что мне, не видя дела и не зная за что, принять сумнительно. Назавтра пришел паки, да с ним Осокиных приказчик Набатов и принес другую тысячу; но я им сказал, что ни десяти не возьму, понеже то было против моей присяги. Но как они прилежно просили и представляли, что ежели я от них не приму, то они будут все в страхе и будут искать других мест, и я, опасаясь, чтоб никакого



вреда не учинять, обещал им оныя принять, когда о невысылке их указ получу, а до тех бы мест держали те деньги у себя, и с тем их отпустил».

В такой примечательной обстановке произошла первая встреча начальника Сибирских и Казанских заводов с двумя влиятельнейшими приказчиками, которым суждено было сыграть немалую роль в описываемых нами событиях.

Они были друзьями, и в судьбе их было немало сходного. Оба были беглыми. Родион Федорович Набатов происходил из семьи крепостных крестьян Троице-Сергиевой лавры, еще в ранней юности бежал на Урал, в скитаниях стал постепенно умелым рудознатцем, услугами которого с немалой выгодой пользовались Петр Осокин и Акинфий Демидов. Он открыл несколько месторождений железных и медных руд, «построил и в действие произвел» известный Иргинский завод, осокинские соляные промыслы в Кунгурском уезде. Он находился в близких отношениях с семейством Осокиных; когда позднее сын Петра Осокина Михаил пошел на немалый риск, открыто перейдя из православия в старообрядчество, Родион Набатов играл в этом деле активнейшую роль, что в конце концов стоило ему свободы и жизни. Родион Набатов пользовался доверенностью и Акинфия Демидова, несколько раз занимал на его уральских заводах высокие административные посты, управлял от имени Демидова Колывано-Воскресенскими заводами. Его административная деятельность часто была связана с дальними разъездами не только по Сибири и Уралу. Например, незадолго до вышеописанного разговора с В. Н. Татищевым он вернулся из служебной поездки в Петербург. Набатов использовал эти поездки как для торговли, так и для связи со многими старообрядческими деятелями.

На окраине Нижнего Тагила Родиону Набатову принадлежал хорошо известный лесным пустынникам и беглым крестьянам обширный двор, где под самым носом властей тайно располагался старообрядческий монастырек, укрепленный «с великою крепостию» — предосторожность эта оказалась не лишней.

Иван Степанов сын Осенев был из ясашных крестьян Казанской губернии. В 1714 г. он вместе с отцом бежал в Хохломскую волость, а когда их и там настиг подушный оклад, они в 1723 г. передвинулись еще дальше, на екатеринбургские заводы. Дав изрядную взятку предшественнику Татищева Геннину, они легализовали свое положение в Екатеринбурге. На новом месте Иван Осенев стал успешно заниматься торговыми делами, он быстро стал вести крупные торговые операции не только от своего имени, но и от имени заводчиков Осокина и Демидова, принимал участие в заводских делах. Перед вышеописанной беседой с Ва-



силием Никитичем он вернулся из торговой поездки в Москву. К этому времени он был владельцем двух дворов в Екатеринбурге и одного при Шайтанском заводе. В каждом дворе стояло три-четыре жилых и несколько хозяйственных построек. Мать Осенева Агафья Кондратьевна происходила из семьи поморских крестьян-старообрядцев и сохраняла тесную связь с известными центрами старообрядчества в Поморье и на Керженце. Им принадлежало несколько купленных дворовых людей, однако отношения с ними были у Осеневых куда сложнее, чем у обычных холоповладельцев. Так, например, «купленной в Питербурге чухонской породы Петр Стефанов», значившийся холопом И. Осенева, был видным старообрядческим деятелем, который связывал его с крупным центром поморского старообрядчества в деревне Таватуйской. (В начале 1980-х гг. свердловские коллеги открыли еще несколько крестьянских сочинений о деятельности этого центра.)

Дом Осенева при Шайтанском заводе был полной чашей — шесть лошадей, три коровы, огород, двое саней, два ковра и т. д.; одних предметов столовой и кухонной утвари опись 1736 г. насчитала 108. Были там и церковные книги, в том числе учебные. Осеневу принадлежали три лавки, несколько кораблей. Его торговые операции охватывали Урал и Зауралье, Западную Сибирь, обе столицы. Отправляясь вскоре в Тобольск для нелегальной операции по освобождению беглых старообрядцев, Осенев прихватил с собой большую партию товара, за которую выручил в Сибирской столице 1 300 рублей.

И Осенев, и Набатов вели жизнь деятельную и подвижную. Успехи в торговле, в горнозаводском деле позволили им вырваться из обычного сельскохозяйственного быта крестьянской семьи, приобрести немалые капиталы и вместе с ними положение на заводах. Но это были успехи полулегальные, юридически они были беглыми крестьянами. Хотя Осенев был мягче, податливее своего друга, им обоим часто приходилось смело преступать рамки закона даже в делах торговых и заводских, не говоря уже о старообрядческих. Пробившись в торгово-промышленную верхушку старообрядчества, они по своему новому положению, естественно, тяготели к более умеренному, компромиссному курсу в отношениях старообрядцев с властями. Но они как по происхождению, так и по характеру своих связей, по неустойчивости своего положения были еще близки к крестьянской среде, могли успешно действовать в ней, лично знали видных руководителей крестьянского радикального старообрядчества. Среди этих последних важную роль играл очередной персонаж нашей истории, влиятельный уральский деятель Елисей Яковлев сын Поляков (старец Ефрем).



Вот что рассказали нам о нем документы, сохранившиеся в фонде консистории Тобольского архива, расположенного в здании «рентереи», построенном после победы под Полтавой пленными шведами для «сороков» казенной сибирской пушнины.



*Архивохранилище, что сейчас находится в здании «рентереи», построенном после победы под Полтавой пленными шведами*

Он происходил из семьи дворцовых крестьян села Данилова Костромского уезда. Еще юношей он убежал из своей деревни, лет десять портняжничал в Москве, затем укрывался в тайных убежищах беглых крестьян за рекой Угрой, в Вяземских лесах. Здесь он провел более 20 лет, стал бродячим старообрядческим чернецом и постепенно приобрел большое влияние на таких же, как он, беглых крестьян, в немалом количестве скрывавшихся в соседних лесах. Однако какие-то неизвестные нам события заставили Ефрема срочно искать более удаленные от властей места — он бежит в Хлыновские леса, а оттуда — на Урал. Ко времени появления здесь Татищева он является уже одним из главных руководителей урало-сибирских крестьян-старообрядцев. И в потаенных лесных скитах, и на заводах, и в крестьян-



ских домах, и в купеческих особняках Урала и Западной Сибири его имя значило немало. И конечно, не случайно получилось так, что бурные татищевские действия по ликвидации тайных убежищ беглых крестьян окончились для Ефрема с минимальными потерями: его истинное положение и даже монашеский чин удалось скрыть от возглавлявшего одну из военных команд поручика К. Брандта. Он, как обычный беглый крестьянин, был лишь положен в подушный оклад при заводах.

А между тем татищевская акция была организована масштабно. На основании сенатского указа военные команды прочесывали уральские леса, находили и сжигали десятки тайных убежищ беглецов, выгоняли из леса их обитателей. В результате этой выгонки тысячи беглых крестьян подлежали возвращению их помещикам, около 500 наиболее упорных старообрядцев предполагалось разослать по монастырским тюрьмам Сибири. (Эту военную меру знаменитого историка наряду с нами подробно исследовал Р. Г. Пихоя.) В скитах команды Василия Никитича обнаружили несколько древних манускриптов, оказавшихся ценными историческими источниками.

И все-таки татищевская акция провалилась. Большинство высланных на старое местожительство до своих крепостных деревень не доехали и исчезли. Оставленные на Урале и обложенные там феодальной рентой также не стали тянуть тягло и бежали. Серия дерзких побегов заключенных старообрядцев из сибирских монастырей привела к тому, что из всех арестованных лишь единицы остались под арестом. Это особенно рассердило Татищева. По его требованию для расследования обстоятельств побегов была назначена специальная сенатская комиссия советника Батурина. Ее материалы показывают, как сравнительно небольшая группа влиятельных старообрядцев, пользуясь поддержкой сибирских и уральских крестьян, казаков, солдат и демидовских приказчиков, сумела в обстановке ведомственных разногласий внутри бюрократической машины организовать и осуществить массовые побег арестованных. Разгромленные убежища беглецов быстро заполнились вновь. Уже через несколько месяцев после выгонки военная команда прапорщика Соловьева обнаружила за пять дней близ Черноисточенского завода 18 новых «пустынь».

Одним из главных организаторов этих массовых побегов был старец Ефрем. В мае 1736 г. Ефрем, получив у демидовской администрации ложные документы для поездки в Тобольск, оказался в сибирской столице, где был немедленно принят с честью в демидовской резиденции. К его услугам были предоставлены не только покой, удобные для жилья и ведения переговоров весьма доверитель-



ного характера, но и несколько старообрядцев, постоянно живших в этой резиденции и деятельно помогавших Ефрему в его планах. К этому времени в Тобольске несколько человек уже занимались успешной организацией побегов старообрядцев, отправленных в сибирские тюрьмы. В частности, четко организовывал такие побеги приехавший уже в Тобольск из Екатеринбурга Иван Осенев. В середине мая 1736 г. в тобольской резиденции Демидовых старец Ефрем тайно организовал важную встречу. Из полковой гауптвахты караульный солдат привел к нему двух содержащихся там под арестом раскольников, в том числе двоюродную сестру Ефрема Евпраксию. Визит из тюрьмы в частные дома был обычным для колодничьих нравов тех лет делом — колодники кормились в основном за счет частной благотворительности и милосердия обывателей, для возбуждения коих арестованных регулярно водили под караулом по домам, рынкам, даже кабакам; пользоваться подобными ситуациями для побега тюремная этика запрещала, ибо это значило оставить других колодников без хлеба. Беглую крестьянку Евпраксию должны были вернуть на родину, в Костромской уезд. По слезной ее просьбе Ефрем пообещал устроить ей побег. Был разработан смелый и необычный план. Евпраксию содержали тогда в гарнизонной тюрьме, побег оттуда казался невозможным. Ефрем предложил Евпраксии, «чтоб де она ни пила, не ела семь дней или более, и умерла бы притворно, и повезут ее в убогой дом», откуда друзья Ефрема доставят ее на демидовское подворье. Евпраксия в страхе отвечала, что боится умереть на самом деле, на что Ефрем сказал: «Когда умрешь, то бог с тобою, а буде оживешь, то де мы тебя не оставим».

21 мая 1736 г. тобольский полковой врач свидетельствовал, что «в заутренней благовест содержащаяся на полковом бекете колодница из стариц Еупраксея Егорова волею божиею умре и положена была во гроб». Обмывали и клали в гроб ее три колодницы (тоже из арестованных стариц), якобы не заметившие ничего подозрительного. Жалкая кляча поволокла тело, положенное в дешевый растрескавшийся гроб, в «убогий дом», откуда ее должны были затем увезти за город, чтобы «загрести» без православного погребения. Клячу погонял мужичонка в рваной одежде. Это был один из богатейших граждан Екатеринбурга Иван Осенев; он и присмотрел треснутый гроб, чтобы бывшая в глубоком обмороке Евпраксия не задохнулась в нем. До «убогого дома» их сопровождал солдат. Когда он ушел, Осенев, оставшись в «убогом доме» с гробом один, вынул из него Евпраксию. Сначала ему показалось, что она и впрямь умерла. Однако энергичные меры Осенева вернули ее к жизни. Он нарядил ее в хорошую мужскую одежду («в серой кафтан да в комзол в суконной коришневой»)



и повел вдоль берега Иртыша к демидовскому дому. Но по дороге, в прибрежном лесу, Евпраксия ослабела настолько, что Осенев вынужден был оставить ее под деревом и пойти домой за лошадь. Но тут случилось непредвиденное. Когда Иван Осенев вскоре вернулся с лошадь, он не нашел Евпраксии на месте. Следы у дерева говорили о недобром. Осенев поспешил уйти подальше от опасного места, но внезапно был схвачен солдатами.

Дело в том, что за время недолгого отсутствия Осенева, потерявшую опять сознание Евпраксию случайно обнаружили драгун Андрей Романов и школьник Тобольского полка Никифор Лебедев, гулявшие вдоль Иртыша. Совсем недавно они, оказывается, были свидетелями притворного «умертвия» Евпраксии. Увидев усопшую воскресшей, да еще в мужской одежде, они сначала изрядно испугались, но потом стали искать рационального объяснения увиденного. Издали заметив спешащего к Евпраксии с лошадь Осенева, они все поняли и решили выслужиться. Осенев не заметил засады.

После четырех дней страшных пыток, допросов, очных ставок Евпраксия и Осенев выдали Ефрема. 25 мая он был арестован. Теперь уже начальство знало, кто к ним попал. Да Ефрем и не скрывал этого. В день своего ареста после первых допросов в Сибирской губернской канцелярии он направил «Антонию, митрополиту тобольской и сибирской духовности» (само это обращение оскорбительно!) яростное послание.

Среди многих крестьянских произведений протеста этот замечательный документ стойкости человеческого духа не может затеряться. Он начинается спокойным и уверенным поучением, в котором старец Ефрем преподает митрополиту Антонию основы христианской догматики и обличает никоновские нововведения. Арестованный на память цитирует при этом многие популярные в старообрядческой полемической литературе сочинения — «Стоглав», «Большой катехизис», творения Максима Грека, «Книгу Кирилла Иерусалимского», «Поморские ответы». «В том стоим и умерети хотим», — гордо завершает Ефрем изложение своего символа веры и переходит к бичеванию взглядов и поведения «никонианского» духовенства. Он завершает это осуждение категорическим проклятием всей господствующей церкви: «И единомысленных ему, Никону, проклинаем и отрицаем и церковь тую неправославну нарицаем». Затем Ефрем переходит к доказательству опаснейшего тезиса, что это проклятие относится в первую очередь к Святейшему синоду. Он обличает пытошную практику синодальных расследований, остро критикует изданные Синодом книги, направленные против старообрядцев; вслед за Денисовыми он издается над попыткой церкви сфабриковать в борьбе со старообрядца-





ми подложное «Соборное деяние на Мартина еретика». Итогом всего этого критического обзора является энергичное заявление Ефрема: «И то ложное все показание и неправое ваше мудрование не приемлем, и проклинаем, и анафема».

Антоний отправил это письмо в Синод, который решил, что «злолаятельное письмо» Ефрема — это уже дело политическое, и передал все следствие в страшную Канцелярию тайных розыскных дел. Грозный шеф этого ведомства Андрей Иванович Ушаков, перед которым трепетали вельможи и сановники, отправил в Тобольск строгое приказание допросить всех замешанных в деле для выяснения следующего: «В написании оногo злолаятельного письма другие кто имянно со оным Ефремом и с сестрою его Евпраксиєю согласники имеются, и в каковом подлинно намерении, и чего ради такое злолаятельное письмо они сочиняли, и чрез то свое письмо чему быть они надеялись, и много ли таких или других каковых... писем у них сочиняемо было, и где, и куда имянно их употребляли и чрез кого».

Одновременно зловещее ведомство А. И. Ушакова сообщило в Тобольск, что независимо от исхода этого большого следствия старец Ефрем уже вполне заслужил, чтобы его, публично наказав кнутом и вырезав ему ноздри, сослали «в каторжную или на казенные железные заводы в работу вечно». Канцелярия рекомендовала чрезвычайные меры для охраны старца Ефрема. Однако этот полезный совет несколько запоздал.

В августе он пытался подкупить караульного ефрейтора, чтобы тот помог ему бежать, но ефрейтор сообщил об этом начальству, и режим содержания Ефрема еще ужесточили: к нему приставили специальных караульных, которые стерегли его одного, не отходя от него ни на шаг, всем остальным солдатам было запрещено даже приближаться к нему. Но постепенно Ефрем смог завоевать расположение нескольких караульных — экстраординарные меры по охране Ефрема внушали солдатам уважение к нему. Один из них, гобоист Евдоким Михайлов, пошел, наконец, на риск передачи писем Ефрема на волю. Так Ефрему удалось установить контакт с Родионом Набатовым, который после ареста Ефрема срочно прибыл в Тобольск и все это время безуспешно пытался помочь ему. Через некоторое время Родион сумел даже тайно встретиться с Иваном Осеневым. Эта беседа двух старых друзей была на редкость интересной для историков, исследующих сейчас общие судьбы русских толстосумов из крестьян в XVIII в.

Акинфию Демидову и Петру Осокину не раз приходилось вызволять своих приказчиков из всяческих неприятностей, но это вовсе не значит, что друзья — влиятельные приказчики и богатые торговцы —



сами искали конфликтов с властями. Как раз наоборот. В уралосибирском старообрядчестве в середине 30-х гг. они возглавляли наиболее умеренное течение, активно пытавшееся нащупать тогда какой-то компромисс с государством. Совсем недавно, в сентябре 1735 г., группа приказчиков уральских заводов во главе с Р. Набатовым и И. Осеневым подала на «высокоматернее имя» «всепресветлейшей державнейшей великой государыни императрицы Анны Иоановны, самодержицы всероссийской» челобитную с проектом примирения старообрядчества и господствующего православия. Но правительство Бирона не имело достаточной гибкости и желания для компромисса, склоняющего на сторону властей богатую торгово-промышленную верхушку старообрядчества; лишь при Екатерине II будет сделана такая попытка, да и то очень робкая. А в 1735 г. единственным ответом на челобитную было продолжение татищевского сыска. И логика развертывания дальнейших событий вокруг этого сыска опять толкнула обоих видных приказчиков на путь острой борьбы с властями.

Вот они и встретились в тобольском доме Родиона Набатова. Немалых денег стоило организовать эту тайную встречу, уломать конвойных доставить сюда на часок осокинского приказчика, побывавшего уже в застенке. И вот конвойные вышли, поверив слову колодника, что он не убежит. Иван и Родион остались одни. Два влиятельных и далеко не безрассудно авантюрных человека, явно дороживших с немалым трудом завоеванным положением на Урале, обсуждают, как им перехитрить саму Канцелярию тайных розыскных дел и похитить старца Ефрема. За последние месяцы оба организовали уже немало побегов, но этот случай исключительный. Успех задуманного ухудшит и без того отчаянное положение Ивана, будет стоить свободы Родиону. Но выдавший однажды под пыткой Ефрема Иван Осенев теперь всячески способствует его побегу — сообщает Родиону важные подробности охраны темниц Тобольского кремля, где заточен Ефрем. В конце беседы Осенев заговаривает об организации собственного побега — во время обыска на одном из его кораблей нашли незаконный груз пороха и ему грозит вечная каторга. Но оба понимают, что побег Осенева изрядно осложнит бы главное дело, и Осенев возвращается в тюрьму, оставив мысль о собственном побеге.

Освобождение Ефрема Родион готовит тщательно. Основное внимание он уделяет организации многократно дублированной сети тайников, где бы Ефрем смог укрыться после побега. Когда по уральским лесам все еще рыскают воинские команды в поисках беглых крестьян, обычные лесные убежища Родион считает ненадежными и предпочитает им дома верных людей в крупных селах и даже городах. Сотни рублей шлет он в разные места Западной Сибири и Ура-



ла. Но еще надежнее те убежища, которые не стоили Родиону ни рубля, — их хозяева знают, кого им предстоит укрывать, и готовы все сделать для него.

Подготовка занимает около трех месяцев. Наконец, все готово. На нескольких вариантах маршрута Ефрема ждут сменные лошади. Первые сани будут стоять под самыми стенами Тобольского кремля. Остается самое рискованное — подготовить все внутри этих стен. Здесь надо все увидеть и рассчитать самому. И Родион проникает в кремль, в тюрьму, сообщает Ефрему все детали и дату побега. Затем он уезжает «по заводским делам» подальше от Тобольска — на Алтай. Он знает, что завтра же любой из подкупленных им солдат сможет назвать под пыткой его имя.



*В стене Тобольского кремля близ Павлинъей башни сохранилась донныне узкая бойница...*

19 декабря в 11 часов ночи старца Ефрема ведут по тюремному двору назад в камеру. «Почему-то» с него сняты ножные кандалы, оставлены лишь ручные. Сопровождает его только один караульный — солдат Кочешев. Они останавливаются у кремлевской стены близ Павлинъей башни. Здесь в стене сохранилась донныне узкая бойница,



обычно забитая ставнями, которые кто-то снял в ту ночь. Впоследствии Кочешев на жесточайших пытках, висая на дыбе, утверждал, что ничего не знал о побеге; он так и умер на пытке, настаивая на своем. Согласно его версии, он лишь ненадолго отвернулся «для мочения» и вдруг заметил, что Ефрем исчез. Шестидесятилетний старец в ручных кандалах выбросился в бойницу. Ефрем скатился с 50-метрового заснеженного холма, на вершине которого высятся стены Тобольского кремля. Внизу его с санями ждал тюменский казак Петр Зубарев, который тут же отвез его к себе домой (за это он получил от Родиона 12 рублей). Затем Ефрема две недели скрывал в подполе своего дома в соседней деревне казачий атаман Федор Иванов сын Корнилов. Потом тюменский ямщик Мирон Ергаков отвез его в Тюмень и укрывал в своем доме. Оттуда его перевезли на Урал и прятали под самым носом у Татищева, в Невьянке.

Тайная канцелярия, еще не подозревающая о побеге из-за дальности расстояния, шлет очередное грозное напоминание в Тобольск накрепко стеречь зловерного автора «ляпательного письма». Тобольские власти с запоздалой активностью рассылают во все стороны воинские команды, старик Акинфий Демидов громко жалуется самой императрице на притеснения этих команд, которые кое-где уже привели к традиционным старообрядческим протестам в форме саможжения. Татищев в свою очередь пишет в гневе жалобу в Сенат на самого сибирского губернатора Бутурлина, якобы потворствующего опасным врагам престола. А Ефрем Сибиряк тем временем отсиживается на Невьянском заводе, затем в монастырьке Р. Набатова на Нижне-Тагильском заводе, где его чуть было не захватила военная команда, спасли лишь укрепления и тайные выходы. Через несколько месяцев Ефрем считает уже возможным перебраться в традиционные лесные убежища по рекам Сылве, Обве, Буте. Здесь, в январе 1738 г., под самым носом у команды подполковника Мазовского, он даже проводит на заимке какого-то токаря Никифора «съезд великий» руководителей крестьянских старообрядческих общин.

Осталось рассказать немногое. Родион Набатов был все же арестован на Алтае и доставлен в Тобольск. Но здесь в его судьбу опять вмешался Акинфий Демидов. Неизвестно, кого и какими аргументами он убеждал, но Сибирская губернская канцелярия вдруг «по ошибке» выпустила Родиона на поруки, а в 1741 г. его «по ошибке» подвели под действие амнистии, на старообрядцев отнюдь не распространявшейся.

На всякий случай заводчик Петр Осокин разработал другой вариант освобождения Родиона. В 1741 г. он подал императрице Елизавете прошение, где доказывал, что арест такого специалиста нано-



сит заводам и казне немалый ущерб. Кроме того, он заявлял, что Родион задолжал ему огромную сумму — 1 000, рублей и требовал выдать ему Родиона для отработки долга. Во всяком случае Р. Набатов после этого работал у Осокиных и какое-то время даже фактически управлял Алтайскими заводами Демидова, пока в 1752 г. не был арестован сразу по нескольким делам. Сначала думали вернуть его законному хозяину — Троице-Сергиевому монастырю, потом передумали и уморили в сибирских застенках.

Ивана Осенева перевели было на каторжные работы в Екатеринбург, но Синод опротестовал это, и его вернули в тобольскую тюрьму для нового следствия, которое тянулось очень долго и завершилось характерным решением Синода: содержать И. Осенева «под крепким арестом в тягчайших работах без всякого послабления» бессрочно — впредь до его обращения в православие. Через полгода после этого решения И. Осенев согласился написать формулу православного символа веры и отречения от раскола и был принят в лоно официальной церкви. Спустя еще полгода его отдали на поруки брату Якову. И. Осенев продолжал вести торговые дела, но в 1750 г. Яков донес на него, а заодно и на свою мать, что они занимаются распространением раскола и что обращение Ивана в православие было притворным. Завертелось колесо нового следствия, в которое были втянуты мать и жена Ивана, его дворовые; сам он попытался убежать от следствия, но был схвачен и доставлен в Тобольск. И. Осенев купил свободу ценою вторичного притворного обращения в православие. Но в эти же дни на западных рубежах страны власти захватили при попытке контрабандного вывоза большую партию «заповедного товара» — ревеня. Вскрылись многотысячные операции Осенева по незаконной покупке ревеня у контайшинских купцов и транспортировке контрабанды через всю Европейскую Россию. И. Осенев отправил самой императрице Елизавете на редкость красочное покаяние и Сенат амнистировал его.

Евпраксия много лет пробыла в заточении и лишь в конце 40-х гг. была «по ошибке» отдана на поруки в Екатеринбург. Старца Ефрема так и не поймали<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Жительница уральского села Чусовое М. В. Мезенина сообщила, что последние годы жизни Ефрем Сибиряк провел в лесу близ их села, в котором до сих пор чтут его память; но за точность этой информации ручаться нельзя.



Глава 4  
**МАКСИМ ГРЕК**



**Н**

аходка рукописей со списками сочинений крестьянских писателей Урала и Сибири, живших в XVIII в., была для нас интересной и приятной неожиданностью. Но ехали мы в первую очередь все же не за ними, а за памятниками древнерусской письменности и печати, созданными еще до церковной реформы Никона и возникновения старообрядчества, т. е. до середины XVII в.

Убегая от преследований церкви и государства на далекие восточные окраины, старообрядцы среди самого дорогого имущества брали с собою древние книги. Древность была синонимом правильности, авторитетности. Гарантией отсутствия ненавистных «новин». Новые времена несли новые тяготы; золотой век благочестия, справедливости, достатка привычно виделся в седой старине. В таких воззрениях немало традиционного крестьянского консерватизма. Но они же помогли сберечь бесценные сокровища русской национальной культуры, в том числе — уникальные памятники нашей древней живописи, письменности, печати. Хранение древних книг жесточайше преследовалось, особенно при царевне Софье. Да и позднее целеустремленных губителей старины было предостаточно. Но чем суровее наказывали староверов за хранение дониконовских древностей, тем изобретательнее укрывали огромные древние фолианты кержаки, «невежественные суеверцы», по аттестации государственных и идеологических деятелей просвещенного XVIII в. Усилившийся после петровских реформ научный интерес к отечественной истории и культуре развивался иными путями и не уменьшил отчужденности между «раскольническими» ценителями старины и казеннокоштными. Очень показательна в этом плане упоминавшаяся в предыдущей главе борьба Василия Никитича Татищева со старообрядцами. В ходе карательных акций Татищева на Урале в тайных кержацких убежищах военные команды захватили немало древних книг. Но на Урале же талантливейший русский историограф Василий Никитич добыл старообрядческую рукопись, которая содержала очень интересный пергаментный список русской летописи, сообщавшей немало неизвестных науке фактов. Позднее этот список, по-видимому, сгорел во время большого пожара в имении Татищева. Если бы эта «раскольническая летопись» (как ее назвал Татищев) сохранилась до наших дней, не существовало бы многих загадок, над которыми сегодня ломают голову ученые.



Один за другим создаются и растут в XVIII в. старообрядческие центры на окраинах страны, в глухих лесах. И библиотеки древних книг, собираемые настойчиво и заботливо, укрепляют авторитет таких центров. На севере Выгореция создаст даже свою литературную школу, традицию, свои мастерские по переписке рукописей, а также обширнейшую библиотеку древних книг.



*За сотни верст от первого скриптория мы наблюдали, как хозяин дома, Иван Тарасевич, кончал переплетать рукопись...*

Вскоре после знаменитой Гангутской победы будет одержана еще одна, не менее масштабная, хотя и не столь славная: победа над полуторастами тысячами керженских старообрядцев. Но разгром Керженца укрепит более восточные центры раскола. Этот поток беглецов с Керженца на Урал очень четко прослеживается по сборнику, найденному нами в скриптории. Немало ценнейших памятников отечественной письменности, которые уже тогда считались весьма древними, было тайно перевезено в те годы на восток. В лесных «кельях», «хижах», а подчас и в простых крестьянских избах новых старообряд-





ческих районов Урала и Сибири укрывались тогда жемчужины древнерусской культуры. Мы никогда, по всей видимости, не узнаем, сколько их там было — очень многое погибло во время столетий преследования старообрядцев, кое-что давно уже попало в руки собирателей, в столичные коллекции. Главной целью нашей экспедиции было выяснить, не осталось ли там хоть что-нибудь до наших дней.



*...в то время, как хозяйка изготовляла пояски «на плашках»*

Рукописной глубокой старины в Сибири оказалось ныне меньше, чем, например, в Поморье. Да и давалась она с гораздо большим трудом — сказывались и огромные сибирские расстояния, и бывшая замкнутость поколений сибирских кержаков, и полное отсутствие надежной информации о маршрутах миграций старообрядцев. Но то, что осталось и что удалось найти, явно стоило трудов. Для меня на первом месте здесь до сих пор один рукописный сборник, обнаруженный нами во время третьего экспедиционного сезона.



\* \* \*

Наш путь в ту алтайскую долину лежал через Енисей и Саяны: мы прошли в обратном направлении маршрут старообрядцев-переселенцев конца XIX и начала XX века. Собирая на Енисее сведения о районах выхода тамошних старообрядцев, мы все чаще слышали об этой алтайской долине, впервые заселенной русскими еще двести лет назад. Вольная крестьянская колонизация создала здесь тогда несколько деревень, разросшихся позднее в зажиточнейшую волость, родину первых фермерских хозяйств России. Позднее в одной из них возникла значительная книжная коллекция. Но в наши дни старообрядчество утратило здесь почти все свои позиции. Не было никаких сведений о существовании сколько-нибудь замкнутых старообрядческих поселений, хотя бы и очень небольших, о сохранении старого жизненного уклада. Обычный современный район Алтая, зернопроизводящий и животноводческий. Совершенно иная экономика, чем в охотничьих поселениях на Енисее, где мы были раньше.

И все же кое-что из услышанного нами километрах в двухстах от первого скриптория заставило нас рискнуть и отправить группу именно в этот район.

Так в июле 1968 г. я оказался в крохотной избушке, стоявшей на краю пестрого поля цветущих маков. Невдалеке от него, за околицей богатого села, земля сразу как-то круто поднималась вверх — начинался склон горы, густо поросший темными пихтами. Мы уже знали, что ее зовут здесь горой Филарета, по имени старика, больше века назад жившего в одинокой избушке на вершине горы и промышлявшего ремонтом и перепиской древних книг. О Филарете нам рассказал директор местной школы, человек любознательный и весьма уважаемый, депутат краевого Совета. Он был дальним родственником Филарета — почти все старожилы этих мест в родстве между собой. Недавно несколько человек во главе с директором предприняли поиски хижины Филарета и действительно обнаружили ее остатки с поленицей дров возле нее. Высохшие почти до невесомости листовенничные поленья они привезли в село в качестве доказательства своей находки. Старики еще слышали рассказы о том, как крестьяне села хитроумно прятали Филарета от бдительности церковных властей — в соседнем селе прочно обосновалась тогда православная миссия и гневные антицерковные филиппики Филарета были неплохо известны миссионерам.

В мастерской Филарета был создан своеобразный стиль примитивного украшения рукописи, мы несколько раз видели уже этот орнамент в соседних селах, где изредка попадались рукописи, созданные в избушке на горе в годы отмены крепостного права. Несколько



позднее в полусотне верст отсюда мы нашли и одного продолжателя дела Филарета — старика Ивана Тарасьевича, владельца огромной окладистой бороды. Его книжный орнамент несколько напоминает орнамент Филарета. Иван Тарасьевич имел неплохую библиотеку сочинений византийских писателей, им же переписанных. Мы застали его, когда он кончал работу над одной из таких книг. Как обычно, набор инструментов был весьма традиционным. Нам удалось сделать несколько неплохих фотографий, которые были напечатаны в Ленинграде, в Трудах Отдела древнерусской литературы Пушкинского дома. Они были быстро перепечатаны в Англии оксфордским профессором Дж. Симмонсом, специалистом по истории русской литературы и русской книги, которому, например, посчастливилось ввести в научный оборот Букварь Ивана Федорова.

В избушке близ макового поля мы надеялись найти еще несколько книг Филарета и не ошиблись. Впрочем, эти книги нам так и не достались: хозяйка избушки обладала характером суровым и непреклонным, — сказав нам с самого начала «нет», она так и не изменила этого решения, несмотря на длившиеся добрую неделю уговоры. Однако неделя бесед в жарко натопленной (в середине июля!) избушке не была напрасной. Мы узнали немало интересного о нашей хозяйке (назовем ее условно Анной Сергеевной). Да и она к концу этой недели стала не то чтобы верить нам, но набираться отчаянной смелости: а что будет, если рискнуть признать, что мы и впрямь явились к ней только ради интереса к древним книгам.

Долгая жизнь Анны Сергеевны была трудной, начиная с самых детских лет, когда ей приходилось батрачить на богатых односельчан. Она гордо продемонстрировала справку об этом, бережно хранимую в одной из филаретовских рукописей.

Эта старая, истертая справка 1920-х гг., выданная сельскими властями, и смелый, неустрашимый нрав Анны Сергеевны неожиданно сослужили важную службу истории русской национальной культуры. За четыре десятка лет до нашей экспедиции, в годы коллективизации в селах этой долины шла бурная и кровавая ломка общественных отношений. И чей-то неумный приказ обрек на уничтожение наряду с прочими атрибутами «кулацкого» быта богатейшую коллекцию старопечатных книг и рукописей, которая собиралась здесь крестьянами со времен Екатерины Великой. И именно тогда недавняя батрачка Анна Сергеевна рискнула спасти кое-что. Книги провели зиму в сарае без крыши, несколько нижних фолиантов глубоко ушли в снег, их не заметили, когда на двух возах вывозили эту уникальную библиотеку для варварского сожжения. Весной Анна Сергеевна нашла их и забрала к себе.



Среди них было первое издание Соборного Уложения 1649 г., редчайшая Виленская псалтырь 1575 г., выпущенная в свет учеником Ивана Федорова Петром Мстиславцем, и большой рукописный сборник XVI в. — самая, пожалуй, ценная рукопись из всех, которые мне посчастливилось найти в Сибири.

\* \* \*

Впервые этот внушительный фолиант появился в нашем поле зрения к концу четвертого дня непрерывных бесед в избушке Анны Сергеевны. К этому времени наша хозяйка уже кое-что знала о нас. Она легко могла проверить по собственным впечатлениям наш рассказ о енисейских скитах. Вскоре после войны она сама побывала в тех местах, проделав для этого немалый путь через Новосибирск и Красноярск.

Правда, Палладия, хозяйина скриптория, она так и не захотела поглядеть: уже невдалеке от его заимки она узнала о каких-то нарушениях старинной традиции в этих местах и решительно повернула назад. Но, во всяком случае, она знала вполне достаточно, чтобы проверить правдивость нашего рассказа. В тот памятный июльский день Анна Сергеевна сказала нам как бы между прочим, что у нее давно уже хранится какая-то «летописная книга». И вот наконец рукопись извлечена из сундука и красуется перед нами.

В научном описании этого памятника позднее будет сказано следующее: «В лист, на 663 листах — 6 листов литературных. Написан полууставом и скорописью разных рук конца XVI в. Бумага с водяными знаками: 1) четырехчастный гербовый щит (Баденский герб), с лигатурой LB, почти совпадает с Briquet № 1075, 1587 г.; 2) кувшин одноручный с литерами P/V почти совпадает с Briquet № 12793, 1583 г. На чистом листе в начале книги запись скорописью второй половины XVII в.: «Книга Григорей Синаит». На листе 2 об. запись скорописью другой руки XVII в.: «Сия книга Владимирского Рождественского монастыря церковная». На листе 3 — заставка растительного орнамента. Переплет — доски в коже, медные жуки и застежки».

Далеко не все эти детали мы могли увидеть сразу. Зима, проведенная под снегом, не прошла для рукописи даром. Многие листы книги слиплись в сплошной блок, ни один водяной знак поэтому не просматривался. Правда, книга открывалась в двух или трех местах. Именно здесь листы были порваны. Это были следы неудачных попыток Анны Сергеевны разлепить книгу более тридцати лет назад. К немалой чести нашей хозяйки должен заметить, что Анна Сергеевна немедленно прекратила эти попытки, как только обнаружила вред,



который она наносит рукописи. Рассматривая эти несколько листов, мы заметили, что кое-где чернила угасли почти совсем на подмокшей бумаге, листы в левом нижнем углу при малейшем прикосновении должны были распадаться на мелкие фрагменты. Однако книга не потеряла ни одного своего листа, и это настраивало меня оптимистически: я видел уже раньше поразительную по кропотливости и тщательности работу реставраторов древней бумаги, ясно читал в инфракрасных или ультрафиолетовых лучах тексты настолько угасшие, что при обычном освещении лист казался совершенно чистым. Забегая вперед, скажу, что рукописи нашей очень повезло: она попала в великолепные руки реставраторов Государственного исторического музея, которым удалось спасти более 98 процентов текста; да и в остальном многое угадывалось по смыслу.

Но все эти реставрационные заботы были еще впереди, а пока мы внимательно разглядывали те несколько листов, на которых книга могла тогда открываться. Желтоватые железосинеродистые чернила, четкий полууставный почерк, свидетельствующий о второй половине XVI в. На одном из листов, к нашей радости, оказалась дата — 1591 г. Дата эта была написана к тому же несколькими различными способами — от сотворения мира и от рождества Христова, по лунному и по солнечному календарю, по годам правления царя и патриарха. Прямо пособие для студентов по исторической хронологии! Это была так называемая «черная дата», т. е. написанная на бумаге чернилами, в отличие от «белой» — даты водяного знака на бумаге рукописи; «белая дата» менее точно датирует рукопись (бумага ведь могла залежаться, и со дня ее изготовления до времени, когда ее коснется перо писца, могло пройти несколько лет). Но, с другой стороны, наша «черная дата» указывала лишь на время создания одного из произведений, переписанных в рукописи. А много ли лет прошло от создания этого произведения до переписки его в нашей рукописи, мы пока не знали.

Сочинение, о дате создания которого сообщало наше «пособие по хронологии», было не только хорошо известно, но и по праву считалось одной из важных вех в истории древнерусской литературы. В оглавлении нашей рукописи оно было названо: «Житие и подвизи святого благовернаго князя Александра Невскаго чудотворца». Это была одна из более поздних редакций биографии знаменитого полководца. Какая именно редакция, мы определить пока не могли. Пробуждение в XVI в. интереса к событиям трехвековой давности было фактом давно известным и понятным. Еще в 40-х гг. XVI в. по инициативе главы Русской Православной Церкви митрополита Макария было торжественно про-



возглашено почитание Александра Невского в качестве общерусского святого. Созданные вскоре после этого новые редакции его биографии умело проводили мысль о преемственной связи ратных подвигов дружин Александра Невского и Дмитрия Донского с военными делами последних времен — славным взятием Казани (см. рис. 12 на цв. вклейке).

Вслед за временем создания этой редакции «Жития Александра Невского» наша рукопись сообщала и о его создателе. Но по древнерусской традиции имя писателя было зашифровано сложной цифровой загадкой. Эти строки попались нам на глаза в первые же минуты знакомства с рукописью. Но, к своему стыду, я так и не сумел тогда раскрыть эту тайнопись и прочесть имя писателя. Уже позднее оказалось, что цифровая загадка была написана с ошибкой и поэтому вообще не решалась. Безуспешно пытаясь в доме Анны Сергеевны решить эту головоломку и прочитать имя древнерусского книжника, мы и не подозревали, как хорошо оно было нам знакомо.

В начале рукописи было несколько чистых листов. Они приклеились к верхней доске переплета, и верхняя треть последнего из них отставала от остального блока листов. На обороте этого листа мы сразу же увидели приведенную выше запись скорописью XVII в. о принадлежности книги Владимирскому рождественскому монастырю. Это вполне согласовалось с тем немногим, что мы знали о содержании рукописи: именно здесь до времени Петра I покоились в белокаменном гробу останки Александра Невского. Вряд ли мы сможем когда-либо узнать, какими сложными и причудливыми путями эта рукопись, выйдя из-за высоких монастырских стен, до сих пор величественно возвышающихся над Клязьмой, попала в далекое сибирское село, когда и кем была она изъята или похищена из богатой монастырской библиотеки. (Про себя я подивился совпадению: моя последняя перед переездом в Сибирь работа была как раз связана с описанием книг этой библиотеки.)

В это первоначальное знакомство с книгой времени для ее разглядывания у нас было не так-то много — Анна Сергеевна все еще сомневалась, можно ли доверить нам бережно хранимую ею рукопись. Наши беседы и переговоры длились еще около суток, и лишь к исходу последнего дня нашего пребывания в этом селе книга была передана через нашу студентку Лену Журавлеву, обладавшую замечательным даром ведения неторопливых многочасовых бесед со старообрядцами. Была уже глубокая ночь, а на следующее утро на рассвете надо было отправляться дальше.

Пришлось, отложив продолжение знакомства с рукописью до других времен, тщательно упаковать ее в хлорвиниловую пленку и спрятать в рюкзак.



\* \* \*

Но уже на следующий день, во время обеденного привала, я не выдержал и опять распаковал книгу. Не стоило, конечно, говорить сейчас об этом — плохой пример для экспедиционных археографов, справедливо почитающих терпение и выдержку одной из главных добродетелей. Я успокоил себя тем, что неплохо использовать солнечный погожий день и проветрить на вольном воздухе книгу. К тому же каждый реставратор хорошо знает, что до применения различных специфических средств всегда имеет смысл попробовать разлепить листы книги самыми простейшими методами. Просушка на свежем воздухе — один из них. Конечно, со всяческими предосторожностями. И вот после недолгой просушки книги в тени небольшой скалы несколько листов из ее последней части почти совсем отошли друг от друга. Вместо четко выписанных буквиц полуустава здесь была краси-



*Максим Грек*

вая беглая скоропись конца XVI в. В глаза бросилась строка, сразу определившая серьезность находки: «и митрополит Даниил спросил Максима Святогорца...» Это было знаменитое «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» — сложный и противоречивый памятник, который в науке известен также под именем «Судного списка» Максима Грека. Ибо спор главы Русской Церкви с крупнейшим мыс-



лителем XVI в. действительно происходил в обстановке суда над Максимом Греком. Точнее говоря, Максима судил митрополит и весь собор высшего русского духовенства, причем делалось это дважды: в 1525 и 1531 гг. «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» — созданная ярим противником Максима публицистическая обработка подлинных протоколов суда, которые не дошли до нас. Источник этот был опубликован более века назад, но тогда же выяснилось, как трудно им пользоваться — огромное количество явных противоречий и умолчаний не давало возможности сколько-нибудь четко уяснить даже, какие обвинения были предъявлены Максиму Греку в 1525-м, а какие в 1531 г.

В нескольких своих сочинениях Максим Грек едко и умело высмеивал языческие сказки об удаче, случае, «колесе Фортуны». Уж очень они противоречили строгой изначальной детерминированности всех людских судеб в христианском мироздании. Богиня судьбы посмеялась над философом, нагромоздив цепь невероятных случайностей, удачных или несчастливых, не только на жизненном пути Максима, но и в делящихся пятаю сотню лет спорах о нем. «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» дало много важных аргументов для этих споров. И вплоть до 1968 г. этот памятник был известен лишь по одному-единственному списку середины XVII в. К несчастью для Максима Грека, этот список был с изъяном — текст обрывался вскоре после изложения умело и убедительно построенной обвинительной речи митрополита Даниила (была, правда, и точная поздняя копия этого самого списка, но и она обрывалась на том же самом месте).

Таким образом, аргументы обвинения были давно известны историкам, а о защите Максима мы знали очень мало. Все попытки разыскать в архивах недостающий конец были неудачны. Неизвестен был даже размер утерянной части. Многие исследователи у нас и за рубежом пытались как-то примирить противоречия источника, догадаться, о чем шла речь во второй половине. Но единого ответа не получилось, мнения расходились все больше.

Несколько случайных обстоятельств, о коих речь впереди, способствовали обострению этих споров.

Почему же суд над Максимом Греком, история этого человека постоянно занимали исследователей, почему в XX в. (а ныне и в XXI в.), как и в XVI, ведется полемика о его судьбе, о его деле?

\* \* \*

Максим Грек прибыл в Москву в марте 1518 г. из Ватопедской обители Афонской «святой горы», старинного центра греческой и







славянской культуры. Русский государь Василий III (отец Ивана Грозного) просил прислать афонского «старца Саву, переводчика книжново, на время». Опытный специалист-переводчик должен был перевести с греческого языка церковные книги, необходимые для споров с католиками и русскими еретиками. Последние, в частности, ссылались в XV в. на Толковую псалтырь и другие греческие книги, полного перевода которых не было в распоряжении иерархов Русской Православной Церкви. Бесценные богатства греческой письменности лежали совсем рядом, в Кремле (позднее эта библиотека станет известной под именем «библиотеки Ивана Грозного»). Афонского старца Савву на Руси уже знали как умелого переводчика с греческого, но он был стар и немощен и не смог приехать. Тогда на Афоне было решено послать в далекий путь монаха Михаила Триволиса, полного сил и известного своей ученостью.

Он родился в греческом городе Арте около 1470 г. и происходил из знатного греческого рода, близкого когда-то к византийскому императорскому дому. Он был незаурядным философом, прошедшим хорошую выучку у известных гуманистов Греции, Италии и Франции. Тринадцать лет своего ученичества он провел в лучших школах Флоренции, Болоньи, Падуи, Феррары, Милана. В конце XV в. он работал у знаменитого венецианского первопечатника Альда Мануция. Изящные издания венецианской типографии — «альдины» — разносили по всей Европе гуманистические идеи, а сейчас они являются лучшим украшением любого отдела древней книги. Бережно хранятся они и в подземном книгохранилище Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Академии наук СССР.

Несколько лет Михаил Триволис, будущий Максим Грек, проводит на службе у итальянского гуманиста Пико делла Мирандола (младшего). Вместе с тем он все больше увлекается страстной проповедью католика Иеронима Савонаролы. Это имя гремело тогда в Европе, имя смелого и яростного борца против произвола и бесчинств римской курии. Папе Александру Борджиа удалось уничтожить своего самого опасного обличителя — Иероним Савонарола был сожжен во Флоренции в 1498 г. Максим видел это аутодафе и много лет спустя в далекой России написал взволнованную повесть о нем. «Повесть страшна и достопамятна» Максима Грека о страстных обличениях и кончине Иеронима Савонаролы часто переписывалась русскими книжниками. Когда после долгих и кропотливых усилий реставраторов мы получили наконец возможность перелистать найденную на Алтае рукопись, на одном из ее листов нам бросились в глаза начальные слова этой повести: «Флоренция град есть прекраснейший...» Во Флоренции Михаил Триволис, увлеченный гневными, неистовыми обличениями Иеро-



нима, становится верным его последователем, а в 1502 г. постригается в католические монахи в знаменитом флорентийском монастыре святого Марка, которым еще недавно руководил Савонарола. Но это далеко не последний крутой поворот в жизни Михаила Триволиса. Вскоре он вынужден уйти из монастыря Святого Марка, а в 1505 г. он уже был православным монахом афонской Ватопедской обители, знаменитой своими книжными богатствами и учеными. Так итальянский гуманист Михаил Триволис становится афонским православным монахом, известным на Руси под именем Максима Грека. Идентичность этих двух лиц была доказана в изящном и точном исследовании французского историка Ильи Денисова, которое вышло в 1943 г. в Париже и в Лувене (см. рис. 13 на цв. вклейке).

Отправляясь в далекий путь с Афона через Крым в Москву, Максим не имел оснований считать свое пребывание на Руси сколько-нибудь длительным: ему поручался перевод нескольких книг, а работал он очень быстро. Но судьба решила иначе: Максиму было суждено провести в России весь остаток своей жизни и умереть там через сорок лет после того, как он в последний раз видел Афонскую гору.

\* \* \*

В Москве Максима Грека приняли с честью, поселили в Кремлевском Чудовом монастыре. Несмотря на плохое на первых порах знание русского языка, Максим быстро освоился с новой обстановкой, да и язык выучил за рекордно короткий срок. Его келья становится центром многих ученых споров того времени, к нему тянутся умные и образованные люди, недаром историки будут потом говорить о «чудовской академии» Максима Грека. Этому кружку покровительствует близкий Василию III «великой временной человек», влиятельный временщик — знаменитый «князь-инок» Вассиан Патрикеев, сам незаурядный писатель и политик, стремящийся ограничить в пользу государственной власти церковное землевладение. Обличение церковных богатств и стяжаний было близко недавнему почитателю Иеронима Савонаролы. Под несомненным влиянием Вассиана Патрикеева Максим Грек примыкает к тому направлению русской церковной публицистики, которое получило название «нестяжательства». Разговоры в келье Максима выходят за рамки ученых споров, затрагивают многие острые вопросы политики. Максим, в частности, недоволен внешней политикой Василия III: Максим — сторонник решительной борьбы с Турцией, а великий князь считает ссору с могущественным султаном губительной для Руси и ищет союза с ним.

На следующий год после своего появления в Москве Максим обращается к Василию III с проникновенным посланием, в котором





выражает надежду, что Греция «тяжце волнуема от безбожных агарян, благочестивейшею державою царствия твоего, да изволит свободити и от отеческих твоих престол наследника покажет и свободы свет тобою да подаст нам бедным милостию и щедротами его». Свое глубокое убеждение в том, что Греция может быть освобождена от турецкого ига лишь с помощью России, «богохранимой и боговенчанной», Максим Грек не раз выражал и позднее.

Еще одно послание к русскому государю Максим Грек направляет в связи с тем тягчайшим поражением, которое в 1521 г. неожиданно нанес русским крымский хан, турецкий вассал.

Максим скорбит об этом временном поражении, воодушевляет великого князя на дальнейшую борьбу. При этом он предлагает действовать решительно и разумно, не начиная немедленной трудной борьбы с Турцией или с Крымом, а нанеся внезапный удар по Казанскому ханству. Этот дальновидный совет, как известно, позднее ляжет в основу политики Ивана Грозного, очень ценившего мудрость Максима Грека.

Запомним для дальнейшего нашего изложения этот комплекс внешнеполитических идей Максима: страстная ненависть к султанской Турции, поработившей Грецию; надежда на освобождение и возрождение Греции при помощи «богохранимой» русской державы; глубокое убеждение в ненадежности и пагубности для России любого союза с турками; наконец, немалая тактическая гибкость в определении конкретных целей борьбы с Турцией и ее вассалами. Последнее подчеркнем особо — Максим вовсе не стремился немедленно столкнуть Россию с Турцией, понимая всю рискованность подобной политики.

Одновременно Максим активно занимается своим главным делом — много переводит с греческого, пишет одно произведение за другим в защиту православия. Первое задание, перевод Толковой псалтыри, выполнено Максимом Греком с поразительной быстротой: за год и пять месяцев (в рукописи перевода почти тысяча листов большого формата: сделанное в 1896 г. издание этой книги весит более пуда). В предисловии к своему переводу Максим подчеркивает, что переведенные им тексты послужат победе православной ортодоксии над еретиками, «яко теми сатанинские их плевелы из кореня истерзати и во огонь вечный вověщи».

Максим полагал, что с выполнением этой огромной работы его миссия на Руси заканчивается, но великий князь решил иначе: он заказывает все новые переводы, наряду с которыми Максим создает немало оригинальных произведений, посвященных, в частности, защите ортодоксального православия от католицизма, иудаизма, маго-



метанства. Пишет он произведения и общеобразовательного энциклопедического характера. Его слава и авторитет все растут.

Тем неожиданнее резкий перелом 1525 г. — суд, соборное проклятие, заточение в Иосифо-Волоколамский монастырь, запрещение писать, учить. Максим не подчинился запрету, и новый соборный суд в 1531 г., еще более тяжелые обвинения, второе проклятие, ссылка в тверской Отроч монастырь. Новое заточение длится целых двадцать лет. Но странное дело. В 1525 г. Максим Грек был послан в заточение к своим злейшим врагам, и режим содержания знаменитого узника был чрезвычайно жесток. А после второго суда в 1531 г., изобиловавшего самыми страшными обвинениями, Максим Грек оказался во владениях самого искреннего своего почитателя — тверского епископа Акакия. Условия его заключения смягчаются вскоре настолько, что дважды преданный соборному проклятию Максим сможет именно в это время интенсивно трудиться над созданием новых и новых своих произведений, составлять целые собрания их. (Последняя библиография насчитывает 365 различных сочинений и переводов Максима Грека.) В его распоряжении будут и книги, и штат писцов.

Максим сможет позволить себе даже суровые обличения своего благодетеля епископа Акакия, посвятив специальное слово весьма красочному доказательству тезиса о том, что большой тверской пожар 1538 г. явился наказанием божьим за роскошную жизнь и многочисленные прегрешения тверского духовенства.

Слава знаменитого старца признается официально, когда тогдашний митрополит Макарий, несмотря на тяготеющее над Максимом соборное проклятие, включает несколько его произведений в свой огромный свод рекомендованных Церковью для чтения житий святых и поучений — «Великие Минеи Четьи». Царь Иван IV посещает келью Максима и почтительно беседует с ним. Влияние Максима сказывается и в ходе знаменитого Стоглавого собора 1551 г., принявшего ряд важных политических и церковных решений. Трое вселенских патриархов — константинопольский, иерусалимский и александрийский, как и афонские монастыри, хлопотали в 40-х г. XVI в. об его освобождении. Митрополит Макарий писал тогда же ему почтительные письма: «целую узы твои», но и он не мог добиться сразу освобождения Максима от этих уз, наложенных соборами 1525 и 1531 гг. Только в 1551 г., за пять лет до смерти, Максим был освобожден и с почетом принят в Троице-Сергиевом монастыре. Но формального оправдания от выдвинутых четверть века назад обвинений Максим не получил и тогда, хотя никто уже не настаивал на них.

Во всей этой истории много загадочного. Нам известно, какие страшные обвинения тяготели над ним: еретичество, волшебство



(в том числе и против великого князя), обличение богатства Церкви, жестокой эксплуатации крестьян, критика московской внешней политики, резкие отзывы о великом князе, изменческие шпионские сношения с турецким султаном и его пашами. Какие из этих обвинений соответствовали истине? Какая действительная причина расправы над Максимом стояла за официально предъявленными обвинениями?

Соборный суд 1525 г. над Максимом Греком был связан с шумным делом о втором браке Василия III: неплодие его первой жены Соломонии Сабуровой выросло в политическую проблему судеб централизованного государства в случае смерти Василия III без наследников. Вокруг вопроса о разводе и втором браке разгорелась поэтому острая политическая борьба. Максим по каноническим соображениям высказывался против развода, запрещенного церковными правилами. Против развода высказывался, вероятно, и влиятельный покровитель Максима Вассиан Патрикеев. Брак Василия III с будущей матерью Ивана Грозного, Еленой Глинской, состоялся лишь после разгрома оппозиции сторонников Соломонии. Таков один из аспектов осуждения Максима Грека, но далеко не единственный.

В феврале 1522 г. вместо сочувствовавшего «нестяжателям» Варлаама во главе Русской Церкви становится резко враждебный им митрополит Даниил. Отныне церковные власти будут находиться в острейшей вражде с нестяжателем «князем-иноком» Вассианом Патрикеевым. Суд 1525 г. над Максимом Греком был одновременно тяжелым ударом и по Вассиану, хотя последнему удалось тогда на какое-то недолгое время сохранить свое влияние. В 1531 г. Максима судили уже вместе с Вассианом. Обвиненный в различных ересях, этот противник церковного землевладения был осужден и отправлен в заточение в 1531 г. Таким образом, и позиция Максима в деле о разводе великого князя, и его близость к Вассиану Патрикееву способствовали осуждению Максима.

Но если оба эти обстоятельства были давно известны историкам и учтены ими, то в целом вопрос об этих судах над Максимом Греком таил в себе немало спорного и загадочного. Что главное во всех явных и тайных причинах осуждения греческого ученого — дело Соломонии или борьба Максима с церковным землевладением, его высказывания о русской внешней политике или критика ошибок в русских церковных книгах, падение Вассиана или обвинение в государственной измене? Полемика обо всем этом продолжалась десятилетиями. Особенно много споров было вокруг обвинения Максима в протурецком шпионаже. Казалось, абсурдность именно этих обвинений — самая очевидная: ведь Максим Грек всегда желал победы православной Руси над магометанской Турцией, мечтал даже об



освобождении греков русским оружием, а если и порицал русскую внешнюю политику, то за недостаточную активность и умение в борьбе с «неверными». Но дело значительно сложнее. В 20-х гг. XVI в. в Москве был несколько раз турецкий посол Скиндер, грек по национальности, связанный со многими людьми из греческой колонии в Москве. Чванливый и напыщенный посол был недоволен тем приемом, который ему оказали в Москве, враждебно относился к идее русско-турецкого союза и открыто похвалялся в Москве, что поссорит султана с московским великим князем. В обвинительной речи митрополита Даниила во время суда над Максимом Греком содержались упреки по поводу сношений Максима со Скиндером, утверждалось, что Максим тайно пересылал турецкому султану и его пашам какие-то изменнические грамоты. Скептицизм многих историков в отношении этих заявлений Даниила был изрядно поколеблен, когда в 1916 г. добросовестный исследователь Б. Дунаев обнаружил в делах русского внешнеполитического архива XVI в. материалы, относящиеся к Скиндеру. Скиндер умер в Москве незадолго до суда 1531 г. После его смерти в его бумагах был сделан обыск, искали какие-то грамоты, которые он мог взять для передачи в Турцию. Нашли ли — неизвестно, но вскоре после этого митрополит Даниил сделал на суде свое уверенное заявление о том, что Максим Грек пересылал свои изменнические грамоты туркам. Б. И. Дунаев полагал, что целью этих изменческих сношений Максима Грека с турками было поссорить Россию с Турцией ради освобождения Греции от турецкого ига. В 1946 г. известный советский историк И. И. Смирнов, основываясь на этих же данных, доказывал, что Максим Грек был отъявленным шпионом, состоявшим на агентурной службе султана.

Правда, в 1968 г. фортуна опять улыбнулась своему старому хулителю: на защиту Максима встала смелая и настойчивая ленинградская исследовательница Н. А. Казакова, которая собрала веские аргументы, свидетельствующие о ложности политических обвинений против Максима. Это позволило ей сделать некоторые предположения и о содержании не дошедших до нас частей «Судного списка» Максима Грека. Она нашла даже еще один список этого памятника, но, увы, он был довольно поздним и обрывался абсолютно на том же месте, что и ранее известный список. Книга со статьей Н. А. Казаковой поступила в книжные магазины Академгородка как раз к нашему возвращению из алтайской экспедиции. Имея в рюкзаке более полный список «Судного дела» Максима, можно было питать надежду осуществить проверку, которая так редко выпадает на долю историка, — сопоставить гипотезы о содержании утраченных частей документа с обнаруженным реальным текстом этих частей.



В послевоенные десятилетия, после отождествления Максима Грека с Михаилом Триволисом, вновь разгорелись также споры об общих оценках всего его творчества, его деятельности в истории мировой культуры. Явление ли это в первую очередь западной, итальянской и греческой культуры или же — русской? Сотни его произведений, написанных в России, говорили в пользу второго положения, многие факты из его жизни до приезда в Россию — в пользу первого. Речь идет, конечно, о наиболее обобщающей оценке; многие следы былых гуманистических привязанностей Максима хорошо прослеживаются в русских его произведениях, сколь бы строго каноничными с точки зрения православия они ни были.

Недавно в этой полемике взял слово известный греческий писатель Мицос Александропулос, немало сделавший для пропаганды русской культуры в Греции и греческой культуры в нашей стране. В предисловии к русскому изданию 1980 г. своего романа «Сцены из жизни Максима Грека» он пишет: «Признаюсь, что теперь, перед выходом моей книги на русском языке, я испытываю особое волнение. Ведь это издание адресуется читателю, для которого Максим Грек и его время — главы его собственной, отечественной истории».

Во всей этой полемике, продолжающейся до сего дня, важными аргументами стали обвинения соборов 1525 и 1531 гг., когда Максима объявили, в частности, сторонником эллинской и прочих ересей.

Все эти споры и исследования опирались в значительной мере на тот противоречивый источник о суде над Максимом Греком, который, как я уже сказал, был известен нам лишь частично.

Поэтому так и повлияло на направление споров о Максиме Греке то случайное обстоятельство, что «Судный список» Максима обрывался на самом интересном месте, вскоре после конца обвинительной речи митрополита Даниила. Обвинения выглядели довольно убедительно, а о степени их достоверности можно было только гадать.

\* \* \*

Понятно поэтому то волнение, которое я испытал, когда убедился, что мы приобрели сборник, в котором есть рукопись «Судного списка» Максима Грека. С первого же взгляда было видно, что рукопись наша намного древнее той ранее известной, над которой ломало голову столько исследователей. Конечно, первой же мыслью было проверить «черную дату», 1591 г., по водяным знакам сборника. Но в блоке слипшихся листов водяного знака не разглядеть. А после реставрации, как я уже знал, будут свои трудности: реставраторы закрепляют бумагу двойной пленкой тончайших, почти неосязаемых микалентных листов, после чего разглядеть мелкие детали водяного



знака куда труднее. Но водяной знак я смог увидеть задолго до того, как рукопись попала в руки реставраторов. Еще в полевых условиях, а затем в Новосибирске верхние части многих слипшихся листов стали постепенно отделяться друг от друга — рукопись попала в новый температурно-влажностный режим. И уже через неделю после первого разглядывания рукописи на привале несколько листов полностью отделились друг от друга. На одном из них при рассматривании на просвет четко просматривались очертания водяного знака. Но, увы, я не помнил наизусть этого редкого баденского герба. Однако позднее, в Новосибирске, именно это обстоятельство помогло: водяной знак был настолько редким, употреблявшимся так недолго, что это позволило более точно, чем по распространенным водяным знакам, датировать рукопись. Когда мы наконец разыскали этот герб в справочниках филиграней, весь сборник получил довольно точную дату: 90-е гг. XVI в. Это примерно на полвека раньше, чем известная прежде рукопись «Судного списка» Максима Грека!

Но не меньше, чем датировка, с самого начала нас волновало другое: так хотелось надеяться, что этот список будет не только более древним, но и более полным. Серьезные основания для этой надежды появились у нас очень быстро. Тот раздел сборника, где речь шла о суде над Максимом Греком и его сотрудниками, был написан особым почерком, резко отличающимся от всех остальных почерков рукописи. Приблизительный объем интересующей нас части можно было определить, как только стали отделяться друг от друга самые верхние части слипшихся листов. И очень скоро стало ясно, что красивая убористая скоропись покрывает в два с лишним раза большее количество листов, чем то, которое должна была бы занять известная ранее часть «Судного списка» Максима Грека!

\* \* \*

С этими первыми обнадеживающими наблюдениями экспедиция вернулась в Академгородок. Здесь была уже кое-какая литература по теме, справочники, на полках красовались последние тома дорогого голландского издания водяных знаков. Можно было приступить к предварительному описанию сборника. Он был разбит на сорок разделов, названных составителем «главами». Над изготовлением его трудилось несколько переписчиков, а кто-то один (возможно, сам заказчик) тщательно сверил потом весь текст и вписал своим характерным размашистым почерком все случайно пропущенные места, исправил все ошибки. Переписка сборника была заказана сразу нескольким писцам, работавшим одновременно каждый над своей частью. Поэтому в готовой книге перед каждой сменой почерка оказа-





лись чистые промежутки величиною от половины страницы до нескольких листов. На одном из таких листов сохранилась характерная рабочая запись: «Тренкино, не правлено, и не подписаны». Действительно, эта часть текста не выверена и записей правщика на ней нет, хотя безвестный писец Тренка, случалось, допускал ошибки.

Среди глав рукописи несколько было отведено под документы по истории России. Вот послания Кирилла Белозерского (XIV в.) к великому князю Василию I и его братьям Юрию и Андрею; за посланием следует завещание Кирилла Белозерского — тексты известны уже, но надо будет сверить. А вот и давно опубликованная грамота митрополита Макария о начале важной идеологической реформы по централизации культа местных русских святых, в том числе Александра Невского и Кирилла Белозерского. Но что это? На грамоте в нашей рукописи стоит дата: «1543». А во всех известных ранее списках грамоты она датируется 1547 г., эта дата начала реформы Макария помещена во всех курсах и учебниках русской истории. Во всех, кроме одного. Знаменитый русский историк XVIII в. Василий Никитич Татищев без каких-либо объяснений отнес начало реформы Макария тоже к 1543 г. Татищев имел в своем распоряжении многие источники, погибшие позднее, и в XVIII в., и в московском пожаре 1812 г. Поэтому к сообщенным им сведениям историки относятся с большим вниманием и о достоверности этих сведений давно горячо спорят. Теперь еще одно не подтверждавшееся ранее источниками сообщение Татищева получило документальную базу. Это не значит, конечно, что теперь мы должны передатировать реформу Макария. Старая дата «1547 г.» стоит на других известных ранее списках этой же грамоты. Но в споре о достоверности сведений Татищева появился еще один аргумент в пользу его сочинений.

По обычаю древних переписчиков рукописей, названия многих глав были красиво выписаны скорописью на верхних полях листов. Уже беглый просмотр этих киноварных надписей, сопоставление их с оглавлением всего сборника доказали, что интерес составителей рукописи к Максиму Греку был довольно устойчивым. Шесть глав содержали списки произведений Максима Грека, а две главы были отведены под его переводы. Кем бы ни был заказчик сборника, он явно уважал Максима Грека и считал его творчество авторитетным для себя, несмотря на все судебные обвинения Максима в еретичестве, несмотря на двукратное отлучение от причастия.

А вот и предпоследняя глава этого сборника, больше всего нас интересующая: «Собор на Максима Грека Святогорца». Мне повезло: как раз в этой части рукописи листы раньше всего начали сами собой разлепляться да и вообще здесь текст оказался наименее испорчен. Хотя



и очень пока приблизительно, удалось определить, где кончается известный ранее текст. А что дальше? Далеко не все еще читается. Вот Максим отбивается от очень серьезных по тем временам обвинений в неуважении к русским чудотворцам — они были стяжателями, имели села, отдавали деньги под проценты, людей судили и били кнутами — какие же это чудотворцы? Это типичная для нестяжателей постановка вопроса. Кое в чем Максим признается, кое-что пытается свалить на Вассиана Патрикеева, заявляя, что сам он лишь повторял нестяжательские высказывания «князя-инока». На соборе происходит очная ставка между недавними друзьями. Но, хотя Вассиан и впрямь очень резко аттестовал чудотворцев-стяжателей, он на очной ставке отказался поддержать попытку Максима выгородить себя за его, Вассиана, счет. Этот спор закончился очень острым препирательством, и Максиму так и не удалось доказать ту истину, которая сейчас считается бесспорной в многочисленных научных исследованиях, посвященных тому времени: что именно Вассиан приобщил Максима к взглядам русских нестяжателей.

Соборное разбирательство продолжается; Максиму доказывают, что и греческие монастыри владеют селами и крестьянами, такие же порядки и на Афоне. В этой связи Максиму напомнили, что и сам он, и представший вместе с ним перед судом русских церковных иерархов греческий архимандрит Савва привозили из Греции в Москву жалованные грамоты, подтверждавшие права греческих монастырей на земли и села. Очень краткое сообщение русских источников об этих грамотах у Максима заставило Б. Дунаева и других историков предположить, что речь здесь шла не о земельных актах, а о тайнственных письмах, содержавших конспиративную политическую переписку Максима и Саввы с Турцией — свидетельство их шпионской осведомленности в секретной документации Посольского приказа. Но еще накануне алтайской находки Н. А. Казакова предположила, что речь здесь идет вовсе не о политике и шпионаже, а о землевладении греческих монастырей, что весь вопрос об этих грамотах встал на суде в связи с нестяжательскими взглядами Максима. Теперь это предположение полностью подтвердилось.

А вот что-то новое, об этом обвинении мы ничего не знали. На соборе выступил влиятельнейший в то время дворецкий великого князя Михаил Юрьевич Захарьин. Он заявил с глухой ссылкой на «многих достоверных свидетелей», что Максим Грек был в Риме, где учился у «некоего учителя». Вместе с ним «любомудрию философскому» учились более «двоусот» других учеников, причем все они уклонились в еретичество, за что Папа Римский «повеле их имати и предати казнем. И оградивше и ослонявше их дровы, сожгоша их



всех, токмо восемь их убежаша во Святую гору, с ними ж и Максим». (Рим здесь — страна, а не город; все биографы Максима согласно считают, что Михаил Триволис никогда не был в Вечном городе.)

Так тысячеверстные расстояния от Флоренции до Москвы и досужие пересуды московских бояр превратили казнь Савонаролы и двух его товарищей в сожжение целого еретического училища, присовокупив рассказ о случайном спасении самого Максима, которого сжигать никто не собирался. Историк может сейчас сделать это на редкость показательное сопоставление флорентийской реальности с московскими слухами. Конечно, и тогда, на суде, был один человек, которому было ясно, насколько далеко обвинение влиятельного дворецкого от действительности. Но Максим на соборе предпочел не ввязываться в опасный спор на эту тему даже ради исправления явных несообразностей и ошибок: выявление реальных фактов итальянской части его биографии могло оказаться для него не менее опасным, чем обвинения М. Ю. Захарьина. Ответ Максима на вопрос судей, было ли такое, весьма характерен для его осторожного поведения: «Видишь, господине, и сам меня, в какой есмь ныне скорби, и беде и в печали, и от многих напастей отнюдь ни ума, ни памяти нет, не помню, господине». Так говорил автор яркой повести о проповеди и гибели Савонаролы. Обвинение не имело под рукой по этому вопросу сколько-нибудь проверенных фактов, тем более очевидцев, поэтому оно ограничилось таким ответом и не развило дальше чрезвычайно опасного для Максима расследования обстоятельств его жизни в Италии. Но обвинения Максима в еретичестве не раз повторялись затем на суде и в приговоре как доказанные.

Далее следует самое интересное — судебное разбирательство по наиболее острым обвинениям собора 1531 г. в изменнических сношениях с турками и приговор. Здесь пока почти ничего не читается, листы слиплись, надо ждать реставрации.

Но в нашей рукописи далее идет еще несколько листов, исписанных убористой скорописью. Что это? Пока можно понять лишь одно: это письма, неизвестная переписка о деле Максима Грека. Письма пишут люди весьма авторитетные: великий князь Василий III и митрополит Даниил — в 1525 г., митрополит Макарий и сведенный уже с митрополичьего престола Иоасаф — в 1548 г. Первые письма сообщают об итогах суда 1525 г. над Максимом (значит, они могут оказать помощь в попытке разделить обвинения, выдвинутые против Максима в 1525 г., когда Вассиан Патрикеев был еще в силе, и в 1531 г.). Письма 1548 г. вспоминают о суде над Максимом в связи с тем, что один из осужденных тогда вместе с ним переписчиков книг — Исак Собака стал к 1548 г., вопреки соборному проклятию, главой важного митро-



поличьего монастыря в Кремле — Чудова. И далее следуют материалы неизвестного ранее соборного суда 1549 г. над Исаком Собакой. К тому же оказывается, что суд этот происходил в преддверии того самого знаменитого собора 1549 г., после которого начались реформы Ивана Грозного. Между тем ни точный состав собора, ни его дата не были известны (в летописях стоит фантастическая дата: 29 и даже 30 февраля невисокосного 1549 г.). Еще совсем недавно, за несколько месяцев до нашей встречи с Анной Сергеевной, в наших исторических журналах развернулась полемика по этим вопросам. А вот здесь той же четкой скорописью записан и состав церковного собора, и его дата: 24 февраля 1549 г.

Предварительное описание сборника окончено. Для специалиста его достаточно, чтобы оценить значение находки и необходимость срочной, но крайне тщательной реставрации. И действительно, на первую же нашу просьбу быстро и деятельно откликнулись глава Археографической комиссии АН СССР С. О. Шмидт и один из старейших наших археографов, заведующая отделом рукописей Государственного исторического музея М. В. Щепкина. Здесь не было долгой бюрократической переписки, московские реставраторы сразу же согласились вне всякой очереди отреставрировать ценную рукопись. Надо было срочно доставить ее из новосибирского Академгородка на Красную площадь Москвы. Но как? Сам я не мог бросить занятия в университете, доверить столь деликатный груз почте не хотелось. Самым надежным оказался наиболее традиционный способ — оказия. В Москву возвращался из краткой поездки в Академгородок один из историков МГУ М. Т. Белявский, лекции которого я слушал еще студентом. Ему-то я, после всевозможных наставлений, и вручил рукопись. И вскоре она оказалась в руках реставратора М. Е. Никифоровой.

Прошло три месяца. Пора и мне было ехать в Москву, внимательно смотреть всю огромную литературу по Максиму Греку, сличать найденный нами текст с ранее известным, готовить источник к публикации.

\* \* \*

В отделе реставрации бумаги ГИМа я увидел наш сборник уже весь целиком разлепленный, листы его были освобождены от переплета и лежали аккуратной стопкой. Шла кропотливая работа по подбору и подклеиванию крохотных фрагментов листов на тех местах, где они когда-то слиплись в сплошной блок; каждый лист с обеих сторон укрепляли почти неосвязаемой, но прочной микалентной бумагой. Впереди была еще не одна неделя тяжелого труда, но я упрямился





реставраторов позволить мне прочитать текст о Максиме Греке уже на этой стадии реставрации. После нескольких дней расшифровки кое-где ставших уже почти невидимыми строк древней скорописи я имел, наконец, перед собою практически весь текст этого интересного памятника; неразобранных или утраченных мест в конечном итоге осталось очень мало.

Уже давно было замечено, что «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» — не подлинные протоколы соборов 1525 и 1531 гг., а их тенденциозная обработка (в пользу противников Максима), созданная в XVI в. (как нам сейчас кажется, скорее всего в 1542–1548 гг.). Но подлинные официальные тексты протоколов лежали все же в основе этого памятника, отразившего действительный ход процесса, многие мелкие подробности и важные детали. В ноябре 1548 г. митрополит Макарий, исходя из собственных интересов в борьбе с Исаком Собакой, эту обработку объявил подлинными официальными протоколами суда, найденными в государственной казне.

Итак, двойная тенденциозность: самих протоколов и их обработки. В обоих случаях — стремление доказать правоту организаторов судилища над Максимом. Может быть, как раз это слишком уж настойчивое стремление позволяет обнаружить реальное положение, снять тенденциозность. Ее замечали и раньше в дошедших частях судебного разбирательства по догматическим обвинениям — многие из них основывались на элементарных языковых неточностях человека, еще слабо владеющего русским языком. Так, например, однажды в переводе текста греческого писателя Симеона Метафраста Максим попутал союз «яко» (как) с союзом «аки» (как бы), и в результате был изрядно искажен смысл. Другой раз в догматическом тексте Максим неточно употребил древнерусскую глагольную форму. После первого суда над Максимом его помощники в нескольких списках этого перевода исправили ошибочные или сомнительные места. Но был еще экземпляр, подаренный самому великому князю. Его принесли на судебное заседание собора 1531 г. и торжественно зачитали «хульные строки» в доказательство еретичества Максима. У судей не было и мысли объяснить происшедшее тем, что Максим не сразу овладел русским языком в совершенстве. «Богохульные вины многие» Максима немедленно стали фигурировать в обвинительных речах митрополита и владык (см. рис. 14 на цв. вклейке).

Еще более тенденциозным было на суде сплетение политических обвинений. Лишь сейчас, читая алтайскую рукопись, можно было оценить, как ловко построил самые тяжелые политические обвинения митрополит Даниил в своей вводной речи, открывшей собор



1531 г. Оказывается, никаких тайных грамот Максима к туркам у обвинения не было. Историки, которые могли раньше основываться лишь на речи Даниила, были здесь введены в заблуждение уверенным тоном этой речи. Все обвинения в изменнических сношениях с турками построены на показаниях двух лжесвидетелей-стукачей, келейников Максима, обвинявшихся на суде 1531 г. вместе с ним (один из них остался безнаказанным, а другой был отдан для наказания самому Даниилу, которому он так помог на суде). Максим категорически отрицал на суде их показания, а сам ход разбирательства выявил здесь немало несуразного в позиции обвинения: лжесвидетели отчаянно путались в показаниях, ссылаясь друг на друга и на третьих лиц, почему-то отсутствующих или даже присутствующих на соборе, но не допрошенных. Максим держался здесь стойко, защищался умело, и любое объективное разбирательство должно было бы признать крах обвинения по этим самым острым пунктам.

Однако по ряду обвинений этого комплекса Максим в конце концов признал свою вину и «добил челом» о ней великому князю. Но во всех случаях речь шла не об изменнических действиях, а лишь о весьма вольного свойства разговорах, которые Максим вел в своей чудовской келье относительно внешней политики Василия III. В кругу тех, кого он считал наиболее доверенными своими друзьями (среди них оказалось несколько осведомителей), он критиковал великого князя за робость и нераспорядительность в борьбе с Крымом, за иллюзорные надежды добиться союза с Турцией. Он все еще мечтал об освобождении Балкан от турок русским оружием. Он непростительно опережал время — на целых 300 лет.

Свои политические обвинения Даниил умело построил, сочетая эти признания Максима с заявлениями келейников Максима, которые он выдавал за доказанные факты, кое-где исказив довольно невинные показания самого Максима, перефразировав их весьма опасным образом, — подобная практика на Руси имела, оказывается, многовековую традицию. С удивлением следил я за всей этой механикой, достаточно ясной теперь даже в изложении составителя «Судного списка», убежденного в полной виновности Максима. Гипнотизирующая стройность обвинительных построений Даниила расползлась на глазах. Но впереди было еще много удивительного. Упорно и убедительно отстаивающий свою невиновность по обвинениям в измене, Максим почему-то не опровергал обвинений в волшебстве, волхвовании. Это он-то, столь решительно боровшийся во многих своих трудах с верой в магию и астрологию! Пыток к нему, несомненно, не применяли. Тем не менее он не отвергает этих, очень серьезных по тем временам, обвинений. И все тот же его келейник подробно из-



лагает суду, как один из соотечественников наделил Максима магической способностью обращать гнев великого князя в благоволение. Для этого Максим «на своих дланех пишет слова водками, да их потрет руку о руку, да придет к великому князю, и князь великий учнет говорить ему, и он учнет великому князю против того что отвечаючи, а против великого князя длани своя поставляет, и князь великий гнев свой на него часа того утолит и учнет смеяться». Это уже, кроме всего прочего, обвинения и в умысле против здоровья великого князя. А Максим молчит.

Еще 40 лет назад историк С. Н. Чернов на основании речи митрополита Даниила правильно предположил, что процесс 1531 г. должен был строиться с нагнетанием наиболее острых политических обвинений к концу суда. Сейчас, когда я дочитывал полный текст «Судного списка», я видел, что эта догадка подтверждалась. Однако что-то не ладилось на этой самой высшей точке процесса, не все прошло гладко с обвинениями в измене; многое Максим отрицал или объяснял довольно невинным образом. И тогда в самом конце суда обвинение опять неожиданно вернулось к некоторым церковным вопросам, уже рассмотренным ранее: здесь Максим не только не запырлялся, но упорно отстаивал на суде правоту вменявшихся ему в вину высказываний. Между тем позиция его по этим вопросам не могла найти сочувствия. Максим обличал русский обычай назначать главу Русской Церкви независимо от константинопольского патриарха, которому формально все еще подчинялась Московская митрополия. Хотя с точки зрения церковных законов Максим был прав, восстановление этой древней зависимости противоречило ходу истории. Мечты Максима Грека о возрождении бывшего величия византийской Церкви остались мечтами. Противоречие же между устаревшим церковным законом и жизнью было ликвидировано созданием независимой Московской патриархии. Но это произошло лишь через полвека после суда над Максимом.

Демонстрацией непопулярных и устаревших взглядов Максима на порядок постановления московских митрополитов эффектно закончил Даниил процесс 1531 г. Вот прочитаны все записи этого процесса и идет изложение приговора. То, что «Судный список» должен был заканчиваться приговором, было ясно давно; вот, наконец, передо мной его текст. Это приговор не только Максиму, но и шестерым его подельникам; здесь много нового: раньше думали, что некоторым из них удалось выпутаться из этого дела, оказалось, что все они были осуждены собором. Но в приговоре отчаянно перепутаны между собой решения соборов 1525 и 1531 гг.; здесь еще придется немало повозиться, чтобы понять, к какому времени относится каждая строка приговора.



Сборник, однако, не кончается приговором. К нему приложены тексты двух писем 1525 г. — митрополита и великого князя — о деле Максима. Они направлены властям Иосифо-Волоколамского монастыря, идейного центра противников Максима, где ему теперь предстояло быть в суровом заточении. Поражает холодная жестокость этих писем. «И заключену ему быти,— приказывают митрополит и великий князь,— в некоей келье молчательне, и никако же исходящу быти... и да не беседует ни с кем же, ни с церковными, ни с простыми... но точию в молчании сидети и каятись о своем безумии и еретичестве». Отлученному от Церкви мыслителю запрещено было писать и даже читать книги, за исключением нескольких, специально отобранных митрополитом,— именно на эти книги ссылался на суде Даниил в своей полемике с Максимом Греком и Вассианом Патрикеевым. Надзор за Максимом поручался монаху из семейства Ленковых, знаменитых своим усердием в исполнении подобных поручений. И однако митрополит приказывал создать систему крепкого надзора и над самим этим надзирателем — «дабы не прельщен был» Максимом.

Максим не был склонен и отнюдь не собирался «молчать и каяться». Лишь теперь смог я оценить давно известное заявление Даниила в 1531 г. о том, что Максим и в Иосифо-Волоколамском монастыре продолжал доказывать свою невиновность, обличать своих судей. Не смирился он и после второго суда.

\* \* \*

На этом наш сборник расставался с ситуацией процессов 1525 и 1531 гг. Однако неистощимая 39-я глава сборника была еще далека от своего конца — я начал читать материалы, связанные с неизвестным ранее науке соборным разбирательством 1549 г. Оно касалось одного из сотрудников Максима Грека Исака Собаки, осужденного вместе с ним на соборе 1531 г.

Исак был известным каллиграфом своего времени, одним из творцов нового оригинального стиля книжных украшений, который позднее станет называться «старопечатным». Он переписывал некоторые из переводов Максима Грека и Вассиана Патрикеева, за что и был предан проклятию и отлучен на суде 1531 г.

Оказалось, что это не помешало сделать ему блестящую церковную карьеру. Когда в 1539 г. бурное развитие политической борьбы выбросило Даниила из митрополичьих палат в тот же Иосифо-Волоколамский монастырь «на покой», его место занял Иоасаф, близкий к нестяжателям — единомышленникам Максима Грека. Новый митрополит, подбирая себе сторонников, вспомнил об Исаке Соба-





ке. Несмотря на соборное запрещение, он в короткий срок сделал Исака дьяконом, священником, а затем и главой крупного московского монастыря — Симоновского. Даниил из Волоколамского монастыря мог лишь со злобой следить за этим выдвижением — один из монастырских старцев уже на соборе 1549 г. очень красочно описал чувства бывшего владыки. У нас нет ни малейшего основания предполагать, что Исаак или сам Иоасаф хоть что-нибудь сделали в это время для Максима, заточенного в Твери.

Случилось так, что перемены к лучшему в судьбе Максима были связаны с именем человека, враждебного Иоасафу и заменившего его на митрополичьей кафедре. В 1542 г. во главе Русской Церкви стал один из наиболее знаменитых ее деятелей — митрополит Макарий. Он был сторонником идей Даниила, но притом — достаточно широким и гибким. Из найденных нами материалов оказалось, что в первое время он продолжал выдвигать Исаака Собаку, он сделал его руководителем привилегированного кремлевского монастыря — Чудова. Все с большим вниманием и симпатией относится Макарий к Максиму, слава которого неуклонно растет все эти годы — годы заключения, заполненные напряженной работой по созданию все новых произведений.

Чудов монастырь находился в непосредственном ведении митрополита, его архимандрит занимал высокое положение в русской церковной иерархии. В чем-то интересы Макария и Исаака столкнулись. Наш источник не говорит — в чем, другие источники, как мы сказали, вообще молчат об этом деле.

Известно, что Исаак не угодил не только Макарию, но и самому Ивану Грозному — позднее в одном из своих посланий царь едко высмеял его за слишком мягкие порядки, бывшие при нем в монастыре. Но тогда, в 1548 г. царь был еще юношей, и Исаак остался жить. Его устранили с полным соблюдением церковных законов.

Наш сборник так рассказывает об этом. В ноябре 1548 г. Макарий обнаружил в архиве «Судный список» Максима Грека, из которого узнал, что Исаак Собака был в 1531 г. осужден собором и отлучен от Церкви. Во время последующих событий Макарий неоднократно подчеркивал, что, поставляя Исаака чудовским архимандритом, он не знал об этом.

Однако на деле Макарий должен был сам принимать участие в процессе 1531 г. Мало того, формальным поводом к проведению этого процесса был как раз переданный Макарию, тогда еще новгородскому архиепископу, донос на Максима о неканоничности его переводов.

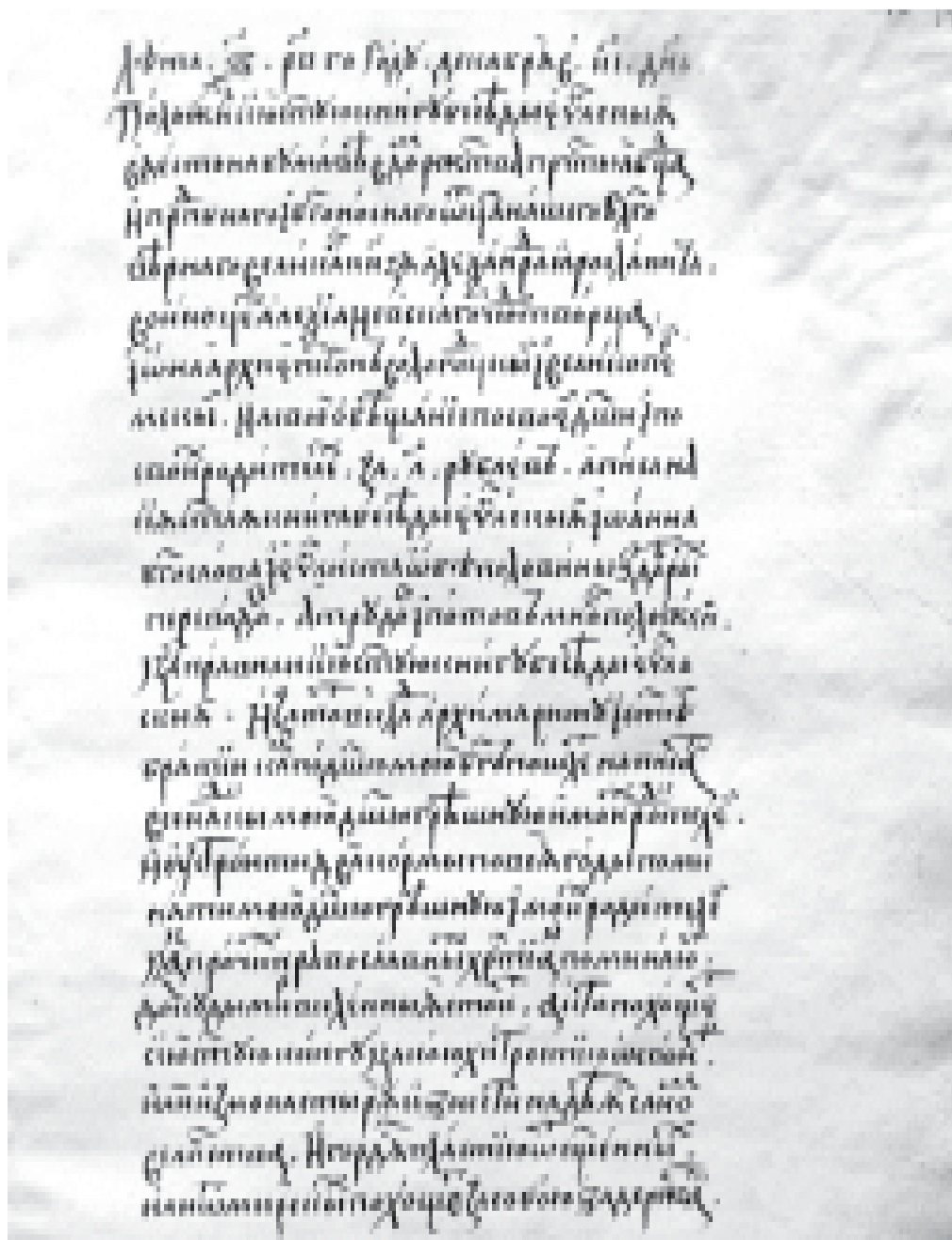


Как бы то ни было, осенью 1548 г. началось официальное расследование — как мог отлученный от Церкви Исаак, не получивший прощения, стать священником и архимандритом. Завязалась переписка по этому поводу между Макарием и Иоасафом, сначала в почтительных тонах, затем — в достаточно резких. Находившийся «на покое» в Троице-Сергиевом монастыре митрополит Иоасаф в конце концов отказался дать показания по существу, сославшись на давность событий. Тогда с разрешения царя Макарий предал в феврале 1549 г. чудовского архимандрита соборному суду, который подтвердил старое отлучение и послал Исаака как нераскаявшегося еретика в далекую Нилову пустыню. Исаак держался на соборе гордо, демонстративно подчеркнул, что он не собирался и не собирается просить у кого-либо прощения за дела, за которые он был осужден в 1531 г. (т. е. за сотрудничество с Максимом Греком). Если верить нашему источнику, Макарий провел собор 1549 г. с поразительной ловкостью: осуждение Исаака было сделано по чисто формальному вопросу о поставлении его на высокие посты без снятия соборного отлучения 1531 г.; о сущности споров 1531 г. не было сказано ни слова, имя Максима Грека не было даже названо на соборе 1549 г. Это вполне понятно — обстановка этого времени уже благоприятствовала Афонцу, его влияние признавали и царь, и митрополит. Пройдет два года, и тот же Макарий сможет уже освободить Максима (есть и другая гипотеза, согласно которой он был освобожден несколько раньше).

Я дочитывал последние строки рукописи, найденной в далеком горном селе Сибири. Строки эти были посвящены перечислению участников церковного собора 24 февраля 1549 г. Вот и еще один спорный вопрос удалось решить — церковный собор 1549 г. занялся затем в составе собора «всей земли» — первого в истории России Земского собора — важными государственными проблемами, и любые сведения о нем давно очень интересовали историков. И как всегда, новые факты вызывали новые недоумения: среди его участников не было протопопа Благовещенского собора Сильвестра, одного из авторов «Домостроя», всесильного руководителя правительства «Избранной рады». Видимо, взаимоотношения между этим правительством и Макарием были сложнее, чем мы думали.

Таким образом, наш источник проливал новый свет на события 40-х гг. XVI в. — время юности Ивана Грозного.

Вскоре оказалось, что сборник этот важен и для историков, занимающихся самым концом XVI в. Числовая загадка в конце «Жития Александра Невского», центрального памятника сборника, скрывала имя Ионы Думина. Имя это было мне хорошо известно — оно встречалось в трех книгах XVI в. Тихомировского собрания ГПНТБ СО АН



Затись Ионы Думина на листе рукописи «Слова Иоанна Златоуста» из Тихомировского собрания (№ 4), л. 12 об.: «А трудов и потов много положено, как правили сию святую книгу»



СССР. В одной из своих работ М. Н. Тихомиров рассказал о значении этого видного деятеля русской культуры для распространения печатных книг на северо-востоке России. По его заказу было написано несколько интересных рукописных сборников; мне приходилось уже описывать книги с его яркими записями. Многие из них он дарил Владимирскому рождественскому монастырю, где он был когда-то настоятелем. Таково же было происхождение и только что найденного нами сборника. Иона, интересовавшийся Максимом Греком и почитавший его, составил свой вариант двухтомного сборника произведений знаменитого мыслителя. Сейчас нам известно девять рукописей, изготовленных по заказу Ионы и состоящих из сочинений Максима Грека. А теперь еще и наш сибирский сборник — опять Иона Думин и опять Максим Грек (см. рис. 2 на цв. вклейке).

\* \* \*

Как обычно бывает: новые факты — новые загадки.

Станным и необъяснимым, в частности, стало казаться включение в найденный на Алтае сборник, составитель которого явно относился к Максиму Греку с симпатией и почтением, клеветнических по сути материалов «Судных списков» об Афонце. Иона Думин немало сделал для прославления памяти Максима; как считает современный американский исследователь Хью Олмстед, эта его деятельность была прямо связана с попытками конца XVI в. укрепить авторитет Максима наиболее бесспорным по тогдашним понятиям образом — канонизацией (провозглашением его святым). Почему же Иона помещает «Судные списки» в заказанном им сборнике? Нам известно, как тщательно отбирал сочинения, их лучшие списки, лучшие переводы Иона, когда речь шла о сборниках, созданных по его заказу, — сам Иона в записях на таких книгах рассказывал, сколько «трудов и потов» стоило создание рукописи.

Уже после завершения работы по изданию текста «Судных списков» 1525, 1531 и 1549 гг., вызвавшего оживленную полемику, я задумался над тем, нет ли какой-то логики в подборе Ионой Думиным срока разновременных сочинений для помещения в Сибирском сборнике. Поиск логики составления древнерусских рукописных сборников — увлекательное, но коварное дело. Каждое литературное сочинение может знать много прочтений, а сборник таких сочинений — тем более. Мы не можем с абсолютной достоверностью восстановить ныне весь ряд ассоциаций, возникавший у человека XVI в. при чтении какой-либо рукописи. Сочинения могли включаться в подобные сборники с целями, так сказать, общеобразовательными, энциклопедическими — таких текстов немало у Максима Грека.





И все же чем больше я вчитывался в 40 глав Сибирского сборника, тем заметнее становилась некая общая линия основных, наиболее значительных разделов рукописи. Она так или иначе связана с теми темами творчества Максима Грека, которые решающим образом сказались на его судьбе в переломные 1525–1531 гг. жизни, вокруг которых возникли основные споры во время суда над ним. Причем тенденциозные искажения взглядов философа организаторами судилища заставили Максима Грека подробно осветить эти взгляды в своих позднейших сочинениях. Некоторые из них помещены в Сибирском сборнике, их окружают труды предшествовавших мыслителей, содержащие сходные интерпретации сходных тем.

Это нестяжательские идеи Максима, очень важная для него мысль об обязанности философа давать этические и политические наставления правителю, отсюда — более общие проблемы отношений между государем и мудрецом, светским и духовным началом, «Царством» и «Священством», как тогда говорили. И особенно близкое к судьбе Максима — тема столкновения государя с мудрецом, несправедливого осуждения философа.

Уже в первой, самой большой главе сборника, содержащей сочинения византийского писателя XIV в. Григория Синаита, Ионой Дуმიным отобраны для переписки тексты в защиту нестяжательских идей, явившихся одной из причин осуждения Максима Грека. Позднее в научной библиотеке МГУ была найдена и описана видным специалистом по греко-русским культурным связям Б. Л. Фонкичем рукопись сочинений и жития Григория Синаита с собственноручными пометами и замечаниями Максима Грека.

Вторая по порядку и величине глава сборника, Житие Александра Невского в редакции Ионы Думина, может рассматриваться как обширная иллюстрация идеального случая проблемы «государь и святой мудрец»: государь сам является святым, мудро заботящимся о сохранении чистоты православной веры, отстаивающим ее с равным умением и на поле боя, и в богословском споре. (Проблемы чистоты веры и методов борьбы с ересями и неверием занимают видное место и во время суда над Максимом Греком, и в сочинениях Афонца.)

Другим идеальным примером является комплекс из четырех глав, посвященный одному из наиболее авторитетных святых Русской Церкви — Кириллу Белозерскому. Они содержат развернутые наставления Кирилла великому князю Василию I, его братьям; эти наставления касались, среди прочего, такого деликатного вопроса, как княжеские семейные дела. И могущественные князья принимают советы старца.



Вскоре в главы сборника входит и важнейшая его тема — тема несправедливого осуждения мудреца судом нечестивых гонителей. Она является центральной для того талантливое сочинения самого Максима Грека, о котором мы уже упоминали: для эмоциональной «Повести страшной и достопамятной» о жизни и мученической кончине Иеронима Савонаролы (глава 9 Сибирского сборника). Начинается удивительная переключка рассказа Максима Грека об осуждении нестяжателя Савонаролы и материалов «Судных списков» об осуждении нестяжателя Максима Грека. Преследовавший Савонаролу по приказанию папы Иаким «поставил его на судилище и мучительно испытал его, и оному со дерзновением отвечающе противу всех лукавств несправеднаго испытателя. И судии не могущу обвинити его, свидетели лживи от части беззаконных... восташа на онаго преподобнаго и неповиннаго... носяще на нь тяжчайша их и несправедных оглаголаний, им же повинувшеся несправеднии они судия сугубую казнию осудиша его».

Помещение этого страстного рассказа в Сибирский сборник можно объяснить однозначно: 7-я глава сборника подготавливает читателя к соответствующей оценке материалов 39-й главы.

Тема несправедного суда разворачивается в ряде византийских материалов сборника, рассказывающих о гонениях на многих прославленных мудрецов и ученых. Открывает этот список знаменитых имен святитель Иоанн Златоуст: в сборнике помещено известное Сказание о патриархе Феофиле и Иоанне Златоусте, рассказывающее о гонениях царя и патриарха на великого философа, смело осудившего стяжательство, об осуждении Иоанна «младоумным собором», о запрете на его книги и о снятии запрета благодаря чудесному вмешательству самой Пречистой Богородицы. Далее в сборнике следует другой общеизвестный пример многолетних гонений праведного учителя — Житие великого святителя Афанасия Александрийского и еще несколько подобных текстов.

Таким образом, можно утверждать, что 39-я глава Сибирского сборника поставлена составителем в такое окружение, которое, совпадая во многом с этой главой тематически, противоположно ей по авторской позиции. Крайняя тенденциозность «Судного списка» Максима Грека, его открытая враждебность по отношению к мыслителю, сочинения которого переписываются в сборнике наравне с сочинениями Григория Синаита, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, приобретают новое смысловое звучание от соседства с несколькими рассказами о незаслуженных преследованиях благочестивых философов. Ни одно слово, ни одна оценка суровых обвинителей Максима не пропущены и не опровергнуты, но судебная расправа над



святогорским старцем поставлена в ряд столь многозначительных исторических прецедентов (осуждение Афанасия Великого, Иоанна Златоуста), что сама тенденциозность обличителей Максима оборачивается обличением их самих.

Мало того, этот эпизод русской церковной истории поднимается таким образом до уровня столь общих проблем средневекового мировоззрения, как отношение светской и духовной власти, царя и мудреца. Великие примеры, давно ставшие знаменитыми в византийской и русской литературах, оттеняют сочинения Афонца и псевдодокументальный рассказ о суде над ним. Ни одного прямого осуждения Василия III и митрополита Даниила в сборнике нет, однако подобный состав сборника подсказывает читателю не только конкретно-исторические, но и общеполитические оценки происшедшего в 1525 и 1531 гг.

Оценки эти закрепляются логическим завершением всего сборника. Его последнюю, 40-ю главу составляет известный византийский памятник VI в. «Изложение совещательных глав к царю Иустиниану, сложенных Агапитом, диаконом святейшая Божия Церква». Этот классический памятник жанра наставлений правителю в XV–XVI вв. пользовался на Руси немалой популярностью. Царю Ивану Грозному особенно нравилось знаменитое определение царской власти, сделанное Агапитом: «Существом убо телесным равен человеком царь есть, властью же достоинства приличен Богу, иже над всеми, ни имат бо на земли себе высочайшаго». Царю эта формулировка говорила об обожествлении царской власти, что в его реальной политике оборачивалось мероприятиями по обожествлению конкретных носителей этой власти — путь, по которому охотно пойдут русские правители последующих веков.

Но царь обрывал цитату из Агапита на удобном для него месте, ибо следующая фраза дьякона была уже совершенно иной тональности: «Подобает убо ему (царю. — *Н. П.*), яко и смертну не возноситься, и яко Богу не гневаться. Аще бо и образом божиим почтесе, но перстью земною смешен есть, ею ж научается равности, яже ко всем». Поучение Агапита наполнено мыслями о том, что царь должен быть милостивым, справедливым, должен судить нелицеприятно даже своих врагов, должен слушать благоразумных советников, а не льстецов.

Последняя мысль была, как мы говорили, особенно близка Максиму Греку. Пройдет несколько лет после почтительных бесед Ивана Грозного в келье Максима, и другой почитатель Афонца, князь Андрей Михайлович Курбский, считавший себя учеником Максима, выскажет царю все, что он думает об «издревле кровопийственном» роде московских государей и деспотическом самодержавии, доведен-



ном до безумия опричного террора. Курбский напишет, что виною всему коварный совет, который дал царю архиерей-осифлянин Вассиан Топорков: «Аще хочещи самодержец быти, не держи себе советника ни единого мудрейшего себя». По мнению Курбского, царь воспользовался этой рекомендацией вскоре после смерти «мудрого советника» Максима Грека.

На грани XVI и XVII вв., когда создавался Сибирский сборник, заметно оживился общественный интерес ко многим излюбленным идеям и темам Максима Грека. Да и судьба его, особенно в сопоставлении со все более высокими оценками его сочинений, будила особые эмоции во времена конца «самодержавства» Ивана IV. Острые политические коллизии, столь драматично изменившие в 1525–1531 гг. судьбу беспокойного Святогорца, привлекали к нему далеко не беспристрастное внимание и тогда, когда все тяжелее ощущались последствия краха политики грозного царя и над страной уже нависла тень будущей Смуты. Ее приближение ознаменовалось, в частности, начавшимся под влиянием этого краха пересмотром некоторых идеологических установок недавнего прошлого.

Так, накануне Смуты начинает ощущаться необходимость изменений в тех двух политико-догматических сферах, проблемы коих выйдут на первый план во время церковной реформы Никона в середине XVII в. Это вопросы о соотношении русского и вселенского православия, духовной и светской власти.

Восточные славяне, оказавшиеся за пределами Московского государства под иноверной католической властью, переживают в XVI в. важный период подъема национальной и социальной борьбы, которая с конца этого века породит целый поток острых антикатолических сочинений. Борьба эта будет находить горячий отклик в Москве, а полемические украинские труды в защиту православия, против насильственного насаждения унии начнут постепенно все шире распространяться по Руси. В последние десятилетия были обнаружены новые удивительные свидетельства большой популярности этих трудов в России вскоре после Смуты.

Но с точки зрения официальной идеологии времен Василия III и Ивана IV после падения Константинополя в 1453 г. православие за пределами русских государственных границ является сомнительным и ненадежным. В частности, окатоличившимся, «пестрым» поклонники горделивых теорий инока Филофея о Москве — третьем Риме будут находить православие и украинцев, и белорусов, и греков. Мы помним, что несколько раз та же тема вставала и на соборах 1525–1531 гг., — и в связи с правомерностью исправления русских книг по греческим, и в связи с вопросом о поставлении русских





митрополитов в Москве. Митрополит Даниил так сформулировал позицию Максима в этом последнем вопросе: «И се убо глагола высокоумие и гордость, еже не ходити в бесерменскую Турецкую державу от патриархов ставитися от невернаго и безбожнаго царствия в митрополиты». Теория Москвы — третьего Рима закономерно используется против Максима Грека, и столь же закономерна его полемика позднее с этой теорией. Но тем понятнее интерес к Максиму на рубеже XVI и XVII вв., когда начинает ощущаться стеснительность этой теории для московских политических и церковных интересов, когда борьба Украины за освобождение от власти католической Польши и идеологические документы этой борьбы будут встречать в Москве все большее сочувствие и поддержку. Несомненно влияние Максима Грека на творчество Ивана Вишенского — одного из самых замечательных украинских публицистов, возглавившего эту полемику. Это же относится и к активной антикатолической деятельности даже столь ненавистной для Ивана IV фигуры, как князь А. М. Курбский.

В XVII в. Россия для того, чтобы выполнить важнейшую свою миссию этого столетия — помочь национально-освободительной борьбе украинцев и белорусов, — должна была менять отношение к милым сердцу Ивана IV политическим концепциям старца Филофея. Начался важнейший этап активного воздействия украинско-белорусской культуры на культуру великорусскую. И не случайно кульминация всех этих споров о соотношении русского и вселенского православия, о допустимости исправления русских церковных книг, об украинско-белорусском православии во второй половине XVII в. ознаменуется и новой острой дискуссией о Максиме Греке.

Вполне понятен и интерес деятелей конца XVI — начала XVII в. к взглядам Максима Грека на взаимоотношения светских и духовных властей. Учреждение в 1589 г. патриаршества на Руси завершило наилучшим способом старый спор Максима и его судей и в то же время способствовало укреплению авторитета высшей церковной власти. Тем неуместнее был обычай Ивана Грозного решать сложные проблемы отношения с церковными иерархами в прямом смысле руками Малюты Скуратова. В этой связи становится понятным интерес к личности митрополита Филиппа Колычева, задушенного Малютой в 1569 г. Как ни стремится созданная в те годы первая (колычевская) редакция жития Филиппа старательно обойти все острые углы, это начало того пути, в конце которого будет перенесение патриархом Никоном мощей святого мученика в Москву и унижительная церемония покаяния Алексея Михайловича в этом преступлении Ивана Грозного. Осуждение собором, послушным воле Василия III, мудрого Святогорца могло восприниматься читателями конца XVI в. как прелюдия к трагедии Филиппа Колычева.



Таковы лишь некоторые обстоятельства, способствовавшие в конце XVI в. благородной деятельности Ионы Думина по реабилитации памяти любимого им философа. Мы видели, как в Сибирском сборнике он использовал тенденциозность «Судного списка», тенденциозность судилища над Максимом для осуждения самих судей.

Конечно, это осуждение скрытое, при всей его резкости. Но вряд ли иное было тогда возможно для видного церковного иерарха, лица официального, каким являлся вологодский архиепископ (а позднее митрополит Ростовский) Иона Думин. Лишь на юбилейном архиерейском соборе РПЦ в 1988 г., когда сведения Сибирского сборника о ложности обвинений, выдвинутых против Максима Грека более 450 лет тому назад, станут широко известны, упрямый Святогорец будет причислен к лику святых вместе со своим давним почитателем митрополитом Макарием.

\* \* \*

Другая загадка, ставшая особенно непонятной после обнаружения Сибирского текста «Судного списка», относится к поведению Максима Грека на суде 1531 г.

Он, несомненно, не напуган судилищем, во всяком случае — вторым, 1531 г., когда прошло шесть лет его стойкого и упрямого сопротивления тюремщикам Иосифо-Волоколамского монастыря. Возможно, есть доля истины в предположении А. А. Зимина о том, что в 1525 г. Максим мог сперва надеяться благополучно выпутаться из всей этой истории. Но все следующие годы он ведет себя с удивительным мужеством. Материалы 39-й главы Сибирского сборника (и особенно письмо митрополита Даниила) впервые со всей отчетливостью показали, какой жестокий тюремный режим без права устного и письменного общения определили ему в 1525 г. и как непокорно вел себя Максим во время этого заточения. «Он же покаяния и исправления не показываше и неповинна во всем себе глаголяше и отреченая мудрствоваше, и послания писаша», — констатировали в 1531 г. его тюремщики.

Свои показания на соборе 1531 г. он чуть ли не начинает с крайне резких упреков в адрес митрополита. В связи с вопросом о поставлении русских митрополитов в Москве он говорит такие смелые слова о митрополите и великом князе, что никаких надежд на сколько-нибудь благополучный исход суда у него оставаться не могло. Обвинения в шпионаже, «политической уголовщине» он разбивает, как уже говорилось, стойко и умело. Не отрекается он на суде и от своих нестяжательских убеждений, а однажды даже переходит в смелую



контратаку, откровенно заявив, что он осуждал стяжательскую практику Пафнутия Боровского, признанного патрона стяжателей-иосифлян, которого вскоре после суда над Максимом 1 мая 1531 г. иосифлянское руководство объявит «святым». Максим же восклицал на суде: «Он держал села, и на деньги росты имал, и люди и слуги держал, и судил, и кнутъем бил, ино ему чудотворцем как быти?»

В то же время в других случаях он ведет себя очень странно. Это относится в первую очередь к длительному судебному разбирательству по многим догматическим обвинениям. Одной из задач, которые великий князь и церковное руководство поставили перед Максимом, когда он приехал в Москву, было очищение русских богослужебных книг от накопившихся за века описок и погрешностей путем сравнения их с авторитетными греческими подлинниками. На суде же ряд именно таких исправлений был вменен ему в вину и квалифицировался как явные ереси. И он, искусный языковед, не решается на суде доказывать справедливость своих исправлений, хотя сделать это предельно просто. Он уходит от прямых вопросов обвинения, на которые ему так нетрудно ответить,— молчит, ссылается на возможные описки в абсолютно правильных греческих текстах или даже пытается свалить вину на своих помощников. Те уличают его на очных ставках, и он опять молчит, к вящей радости организаторов суда. И это даже в тех случаях, когда ошибки в русских богослужебных книгах настолько очевидны, что Русская Церковь должна будет в конце концов согласиться с исправлениями Максима,— правда, через 120 лет после суда над ним, при патриархе Никоне (например, в Символе веры). Но он не решается открыто сказать на суде об ошибке в русском тексте главного догматического документа православия и утверждает, что правка была сделана без его ведома. Михаил Медоварцев, его ближайший сотрудник, тут же опровергает это, сообщив, что исправление приказал ему сделать сам Максим в соответствии с греческими книгами.

Я неоднократно подчеркивал эту загадочную непоследовательность поведения Максима на суде, выступая в Москве и Ленинграде с докладами о «Судном списке». При обсуждении этих докладов было высказано два интересных предположения о возможных путях решения этой загадки. Вероятнее всего, оба предположения справедливы и идти следует обоими путями.

Н. В. Сеницына предложила объяснять нежелание Максима ввязываться в догматические споры на суде тем, что в накаленной обстановке тенденциозного судебного разбирательства было нелегко вести дискуссию по самым сложным вероучительным проблемам



православия,— Максим предпочел это сделать неторопливо и обстоятельно позднее, в большом цикле своих сочинений, написанных в ответ на обвинения.

Я. С. Лурье предположил, что Максим намеренно отказывался на суде от такой защиты, которая могла бы нанести хоть какой-то урон догматическому авторитету Русской Православной Церкви, которую он считал главной силой, способной укрепить ортодоксальное греческое православие во всем мире; в связи с этим Я. С. Лурье предлагал внимательнее посмотреть на соотношение в творчестве Максима православной ортодоксии и идей Возрождения.

На наш взгляд, оба эти объяснения не противоречат друг другу. Максим, несомненно, не сумел бы в накаленной враждебной обстановке соборного судилища выполнить ту труднейшую задачу, которую он в конце концов решил всей огромной совокупностью своих сочинений: доказать жестоким и непримиримым тюремщикам свою правоту, сделав это так, чтобы не нанести ущерба догматическому авторитету Русской Церкви, но способствовать ее укреплению. Он хотел, чтобы его немалые знания, опыт, почерпнутый в греческих и итальянских культурных центрах, принесли пользу его новой родине (которую в сочинениях своих он всегда называл «богохранимой Русской державой»). Это, несомненно, означало для него и добросовестное выполнение той задачи, ради которой в 1518 г. ему было предложено воспользоваться гостеприимством московского великого князя,— помочь Русской Церкви в борьбе с ересями, осуществить переводы тех важнейших богословских сочинений, потребность в которых так остро сказалась во время трудных идейных схваток с еретиками XV — начала XVI в. Максим был уверен, что важнейшей частью этой задачи является и сближение русского православного обряда со вселенским путем исправления накопившихся в русских богослужебных книгах неточностей по наиболее авторитетным греческим оригиналам, совершенствования перевода и т. д. Сначала казалось, что его работодатели понимают важность этой цели так же, как и он. Тем страшнее прозвучали на суде обвинения в преступной порче книг и еретичестве, перечеркивающие все его дело. В написанных после суда сочинениях он будет доказывать свою правоту по основным вопросам судебного спора. Но в двух случаях он в этих сочинениях, явно заботясь о сближении Русской и Греческой Церквей, пойдет за русским, а не за греческим обрядом — в вопросах о двуперстии крестного знамения и о произнесении «Аллилуйя» в молитвах дважды, а не трижды. Через век, во время никоновской реформы, именно эти вопросы станут причиной ожесточенного спора, а имя Максима станет популярнейшим в старообрядческой среде.



Теперь об идеях Возрождения и православной ортодоксии в творчестве Максима. Хотя в его русских сочинениях немало важных строк, выдающих мыслителя Возрождения, это относится прежде всего к методу, приемам научной критики, арсеналу фактов из античной истории и литературы. А вот как раз идеи совсем иные, враждебные духу итальянского Возрождения — защита ортодоксальных догм православия, причем и цитируемым античным авторам достается немало. Его еще в Италии испугало безбрежное «самовластье разума» у итальянских гуманистов, и он вполне искренне захотел ограничить его твердыми догматами веры, победить легкость нравов позднего Возрождения проповедью христианской аскезы (в этом несомненное влияние Савонаролы). Посвятив дальнейшую жизнь свою защите православной ортодоксии, он не мог не видеть в московской Церкви наиболее значительную реальную силу, способную на деле поддерживать незыблемость православных догм. Сначала он даже настойчиво рекомендовал московским властям перенять успешный опыт испанской инквизиции в деле обеспечения чистоты веры; лишь Василий Патрикеев убедил его оставить эти мысли.

Митрополит Макарий, включавший сочинения отлученного от Церкви Афонца в свои Великие Минеи Четьи, более всего ценил в них умелую защиту и укрепление богословских постулатов восточного христианства. Но для историка отечественной культуры особенно важны и гуманистическая, и научная стороны его творчества.

Значение трудов Максима Грека в истории русской культуры велико, но все же не как глашатай идей итальянского гуманизма, Возрождения был приглашен он в Россию. Он был призван сюда, чтобы помочь Церкви в борьбе с теми самыми русскими ересями, которые нынешние исследователи все увереннее называют главным элементом в ситуации русского «предвозрождения» и гибель которых, по мнению Д. С. Лихачева, не позволила развиваться этой ситуации в русское Возрождение. Максим Грек активно и умело вел борьбу с еретиками и прочими врагами православия, применяя лучшие из известных ему методов полемики, критики, широко заимствуя достижения филологии Возрождения, опираясь на большой круг произведений византийской литературы, не раз вспоминая и античных философов, писателей. Делал это он с ревностным желанием укрепить идеологическую силу и авторитет православия, и прежде всего Русской Церкви, огромную реальную мощь которой он видел и приветствовал. Соборных старцев раздражало и его осуждение роскошной, богатой жизни церковных иерархов, далекой от принципов христианской аскезы, и его нестяжательские убеждения, ненависть к феодальному монастырскому землевладению, его надежда в интересах самой же



Церкви «исправить» церковную жизнь с позиций, близких к проповеди Савонаролы. Они лучше самого Максима видели, что именно здесь он подчас сближается со столь ненавистными ему еретиками, также выступавшими против земельных и прочих богатств Церкви, обличавших нравы церковных иерархов. И недаром дворецкий Захарьин обвинил на суде Максима, что в Италии католический его учитель, сожженный папой (Савонарола), обучил его «жидовской ереси». Против иудаизма Максим Грек не раз выступал со строго ортодоксальных позиций. Но в русской ереси «жидовствующих» было немало ярких нестяжательских черт, близких к идеям Савонаролы и Максима.

Соборные старцы с крайней подозрительностью вчитывались в сочинения Максима, в которых он искренне и квалифицированно отстаивал основы православной догматики. Из лингвистических ошибок и описок они конструировали «максимовы многия хулные ереси». (Точно так же из вольных размышлений о внешней политике Василия III они создавали протурецкий шпионаж Максима.) Под влиянием теории о превосходстве московского православия над греческим, теории Москвы — третьего Рима они инкриминировали Максиму то умелое исправление русских богослужебных книг по греческим, для которого его вызвали в свое время на Русь.

Соборных старцев страшили методы, которыми Максим стремился укрепить боеспособность московского православия в борьбе с ересями, католицизмом, лютеранством, магометанством, иудаизмом. Но если отбросить фальшивые обвинения Максима в еретичестве, то кое-что в этом страхе можно будет понять. «Чудовская академия» Максима была явлением новым и пугающим. XV в. уже приучил церковное руководство со страхом всматриваться в любые широкие богословские споры — не было еще достаточно проверенного аппарата идеологического контроля, за ними всюду чудились ереси и подрыв церковного авторитета. Максим и не помышлял о подрыве идеологической монополии Церкви, наоборот, стремился к ее укреплению, но его аргументы и методы были новы, его эрудиция (и не только богословская) превосходила знания многих осифлянских (стяжательских) владык. А мысль о том, что Церкви придется вскоре вести идеологические бои на этом новом, более высоком уровне и что знания Максима тогда очень пригодятся, — эта мысль была доступна не всем. То, за что ратовал Максим (и что частично было на Руси известно и до него), — более широкое привлечение сочинений византийских философов, а изредка даже мыслителей античного мира, хорошее знание католических и прочих противников, применение методов лингвистической критики, научной текстологии — все это под пером



Максима укрепляло авторитет православной ортодоксии. Но так ли будет всегда? Не спокойнее ли без этих новшеств?

Здесь очень интересна параллель с другим новшеством. Через три года после того, как митрополиту Макарию удалось наконец освободить Максима из 26-летнего заточения, «в лето 1554 начато бысть печатание книг на Москве при митрополите Макарии». Умный и высокообразованный глава Русской Церкви, конечно, хорошо видел всю пользу этого важнейшего новшества; понимал он, как ценно для страны, в храмах которой часто не хватало богослужебных книг, получить сразу тысячи экземпляров «Апостола», «Евангелия», «Триоди постной». Да еще с единым, тщательно выверенным текстом — вместо многочисленных описок в рукописях. Введение печатных книг в церковную практику отвечало непосредственным интересам Церкви. Ну а что можем сказать теперь мы из далекой перспективы XXI в. о конечном влиянии печатного станка на предельное разнообразие общества Нового времени?

Вспомним, что энтузиазм Макария по поводу книгопечатания разделяли далеко не все. Конечно, они не думали о далеких последствиях этого события. И дело не в одной лишь боязни переписчиков книг остаться без хлеба — переписка книг расширилась на Руси и во второй половине XVI, и в XVII в. Дело в самой обычной, понятной средневековой осторожности перед лицом невиданного новшества, хотя как будто и во славу Церкви творимого.

Но вернемся к Максиму. На суде он оказался в отчаянно сложном положении. Его судила та сила, служению которой он посвятил себя. В которую верил как в главную опору мирового православия и будущую освободительницу Греции. Которой он настойчиво и квалифицированно советовал, что и как следует делать в ее же интересах. Церковь в 1525 и 1531 гг. не приняла этих советов «неведомаго и незнаема человека, новопришедшего ис Турецкие земли» (так аттестовал Максима митрополит Даниил), и сочла его советы крайне подозрительными. Максим яростно защищается на суде против многочисленных ложных обвинений, но в догматических вопросах он чаще всего не решается открыто посягать на богословский авторитет собора, олицетворявшего высшую власть в Русской Церкви. И позднее, в заточении, упорно настаивая на своей полной невинности, он будет с подчеркнутым почтением относиться к догматическому авторитету Русской Церкви и к «богохранимому» московскому самодержавию, провозглашать (как и на суде) единство греческого и русского православия.

В определенном смысле можно сказать, что Максим одержит нелегкую победу в этой трудной игре. За двадцать шесть лет заточения,



нимало не подчиняясь соборным требованиям о молчании, покорности и раскаянии, он убедит тюремщиков в своей дружбе и полезности. Правда, вернуться на Афон ему так и не разрешат, несмотря на все его просьбы, несмотря на ходатайства вселенских патриархов. Но его догматические и полемические сочинения оценят, они будут приняты Церковью и государством, рекомендованы верующим для чтения, будут, наконец, признаны в качестве полезного оружия в борьбе за чистоту веры. Нестыжательские мысли и обличения Максима будут по душе Ивану Грозному. Максим сможет создавать все новые сборники, все новые редакции собрания своих сочинений, и влияние их будет расти и в XVI, и в XVII вв. Последствия этого влияния многообразны и противоречивы, но это особая тема.

Новые филологические методы, приемы полемики, пропагандируемые Максимом, новые авторитеты, чьи голоса звучали со страниц самых ортодоксальных его сочинений, оказались в России первой половины XVI в. достаточно пугающими, чтобы обеспечить упрямому Афонцу два отлучения и четверть века заточения.

И вместе с тем острая необходимость в его сочинениях и методах будет все сильнее ощущаться уже в XVI в., а некоторые из предложенных им принципов и общее направление книжного исправления осуществятся в конце концов в церковной реформе середины XVII в.

Он пришел слишком рано и поплатился за это суровым осуждением и тяжкими годами неволи. Но он пришел вовремя, чтобы увидеть в конце жизни завоеванную упорной борьбой победу и начало своей долгой славы.